

ГРИГОРИЙ КВИТКА-
ОСНОВЬЯНЕНКО

**МАЛОРОССИЙСКАЯ
ПРОЗА (СБОРНИК)**

Григорий Квитка-Основьяненко
Малороссийская проза (сборник)

«Public Domain»

1834, 1837

ББК 84(4УКР)

Квитка-Основьяненко Г. Ф.

Малороссийская проза (сборник) / Г. Ф. Квитка-Основьяненко —
«Public Domain», 1834, 1837

ISBN 978-966-03-7675-5

Вот уже полтора века мир зачитывается повестями, водевилями и историческими рассказами об Украине Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), зачинателя художественной прозы в украинской литературе. В последние десятилетия книги писателя на его родине стали библиографической редкостью. Издательство «Фолио», восполняя этот пробел, предлагает читателям малороссийские повести в переводах на русский язык, сделанных самим автором. Их расположение полностью отвечает замыслу писателя, повторяя структуру двух книжек, изданных им в 1834-м и 1837 годах. Третью, подготовленную к печати, он не успел опубликовать, и повести, включенные в нее, а также не вошедшие в авторские сборники, печатались на русском языке лишь в журналах и альманахах в 1830-е — начале 1840-х годов и впервые собраны в нашем издании. Одновременно издательство «Фолио» выпускает в свет книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой наряду с другими произведениями рассматриваются и малороссийские повести писателя.

ББК 84(4УКР)

ISBN 978-966-03-7675-5

© Квитка-Основьяненко Г. Ф., 1834,
1837

© Public Domain, 1834, 1837

Содержание

Зачинатель украинской прозы	6
Малороссийская проза	14
Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком	15
Основьяненком	
Солдатский портрет	15
Маруся	27
Праздник мертвецов	76
Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком	89
Основьяненком	
Делай добро, и тебе будет добро	89
Конотопская ведьма	107
I	108
II	111
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Григорий Квитка-Основьяненко

Малороссийская проза

© Л. Г. Фризман, предисловие, примечания, 2017

© Л. П. Вировец, художественное оформление, 2017

* * *

Зачинатель украинской прозы

В процессе литературной эволюции ничто не происходит вдруг. Постоянно идет процесс развития, накопления количественных изменений, которое с кажущейся внезапностью порождает новое качество. Так было и с возникновением украинской прозы. Мы можем определенно назвать ее год рождения – 1834-й, когда вышла в свет первая книжка «Малороссийских повестей, рассказываемых Грыцьком Основьяненком». Ее появление было предопределено процессами, происходившими как в тогдашней литературе, так и в биографии ее создателя.

Как Украина была частью Российской империи, так украинская литература мыслилась как часть литературы русской. Хотя возникновение русской прозы с основанием считается результатом деятельности Карамзина, в первую треть XIX века она не занимала на литературной авансцене ведущего места, до поры принадлежавшего поэзии. Но к началу 1830-х годов и писатели, и читатели потянулись к прозе. Наиболее убежденно и эмоционально сказал об этом Александр Бестужев: «Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать. Наконец, рассеянный ропот слился в общий крик: „Прозы, прозы! Воды, простой воды“»¹.

Этот «общий крик» был услышан и Квиткой. Решив обратиться к прозе, Квитка поначалу, по его собственному признанию, «дерзнул» «обивать целое книжище». Имелся в виду задуманный им роман «Жизнь и похождения Петра Пустолобова». Но эти планы столкнулись с таким жестким сопротивлением цензуры, что попытки их осуществления пришлось отложить на многие годы. Тогда Квитка и принял решение, может быть, самое важное в его творческой биографии – он приступил к работе над произведениями, составившими его сборник «Малороссийские повести». Дело было не только в том, что под его пером зарождался новый, своеобразный литературный жанр.

Квитка, который до тех пор все свои прозаические произведения, в том числе и совсем недавно созданную романтическую повесть «Ганнуся», писал по-русски, решился заговорить со своим читателем на украинском языке, или, как чаще говорили в ту пору, на малороссийском наречии. Решение издавать эти произведения именно так было для Квитки принципиально важным, вопросы языка он неоднократно и детально обсуждал в письмах, особенно в письмах к редактору журнала «Современник», где печаталось большинство переводов его повестей на русский язык – П. А. Плетневу. С языком он связывал самые коренные проблемы: создания и правильного понимания своих произведений.

Квитка-прозаик пришел в литературу сравнительно поздно. Когда вышла книжка, точное название которой «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком» – ему было уже 56 лет. Но впечатление, вызванное ею, оказалось ошеломляющим. В сразу появившейся обширной рецензии видный украинский поэт, этнограф и филолог О. М. Бодянский провозгласил прямо-таки здравицу Квитке: «Хвала Пану Грыцьку, первому так смело и так живописно ворвавшемуся на лихом украинском коне в область ныне всеми любимого повествовательного рода»². В таком же духе писали и другие критики.

Открывалась книжка небольшой повестью «Солдатский портрет». В общем массиве творчества Квитки ей принадлежит относительно скромное место. Это была, как говорится, шутка гения. Почти вся повесть заполнена описанием харьковской ярмарки. Квитка любит изобилием продуктов, за которыми ему видится народный достаток. Хлеба всякого «видимо-невидимо... Всякий товар и чего бы ты ни вздумал, все есть! Груш ли тебе надобно? Так и на

¹ Литературно-критические работы декабристов. М. – Худож. лит., 1978. – С. 85.

² Мастак И. (Бодянский О. М.) Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком // Ученые записки Московского университета, год второй. – Ч. VI. – С. 307.

возах груши, и в мешках груши, и купами груши, приди, торгуй, сколько нужно тебе... <...> уморишься только рассказывая... Чего только там не было!...»

Мы ничего не поймем в Квитке вообще и в этой его повести в частности, если сочтем, что эти так детально и старательно выписанные картины представляют собой некий фон, на котором разыгрывается основное действие.

Нет! Не анекдотическое происшествие – как нарисованного солдата принимают за живого, а потом разбираются, что обманулись, – а сами эти картины харьковской ярмарки и характеров ее посетителей – они и есть главный предмет изображения. Это некий восточно-славянский аналог фламандской живописи: то же буйство красок, мобилизованных вдохновением художника, чтобы выразить черты и особенности народной жизни, мощное жизнеутверждающее чувство любви к родной стране, восхищения ее нравами и обычаями, ее народа, ее вольнолюбивых традиций, красотой людей, щедрой природы и ее обильных даров.

Сам же Квитка считал своим лучшим произведением другую повесть – «Маруся», создание которой произошло из убеждения Квитки в выразительных возможностях украинского языка. Она произвела такое впечатление на Шевченко, что он даже через несколько лет после того, как он мог с ней познакомиться, писал Квитке: «Не оставьте же, любите меня, как я вас люблю, ни разу не видел. Вас не видел, а вашу душу, ваше сердце так вижу, как, может, никто на всем свете. Ваша „Маруся“ так мне вас рассказала, что я вас насквозь знаю»³.

Квитка выпустил две «книжки» «Малороссийских повестей». В каждой из них по три повести, причем второй в обоих сборниках идет как бы главное произведение, превышающее по объему первую и третью повести вместе взятые. В книжке, вышедшей в 1834 г., такое место отведено «Марусе», а в сборнике 1837 г. аналогичное, «срединное» место занимает «Конотопская ведьма».

Если в «Марусе» безраздельно властвует стихия лиризма, то «Конотопская ведьма» – один из самых совершенных образцов творчества Квитки-сатирика. «...В „Конотопской ведьме“, – отмечал И. Франко, – дал Квитка несравненный мастерский рисунок старых казацких порядков середины XVIII века в современном сатирическом освещении»⁴. В рецензии на галицкие юмористические журналы, появившейся в львовском журнале «Друг», Франко писал: «Элемент юмористично-сатирический богат у нашего народа, его остроумие, его поблескивающий слезами смех послужил основой бессмертных повестей Николая Гоголя, оплодотворил знаменитые повести Квитки: „Солдатский портрет“, „Конотопскую ведьму“ и другие»⁵.

Хотя повесть и называется «Конотопская ведьма», главным предметом изображения в ней является конечно же не ведьма Явдоха, а два ответственных местных чиновника: «конотопский пан сотник Никита Власович Забрёха и его задушевный друг, без которого он и чарки не выпьет, писарь Прокоп Григорыч Пистряк». Вероятно, и фамилия сотника была производной от украинского слова «брехать»: (Забрёха – тот, кто «забрехался», изолгался), но уж в отношении фамилии его друга-писаря и сомнений никаких быть не может. «Пистряк» по-украински значит «прыщ». Колоритность этого образа особенно впечатлила тогдашнюю критику. Один из рецензентов даже заметил, что «волостной писарь Пистряк достоин пера Мольера и Диккенса».

Помимо «Конотопской ведьмы» Квитка написал также повесть «Украинские дипломаты», в которой его талант сатирика выявился в еще большей мере. Это произведение заслуживает особого внимания и потому, что в нем отчетливее, чем где-либо, дало себя знать сходство творческой манеры Квитки и Гоголя и влияние, оказанное Гоголем на Квитку. По трудно объяснимым причинам эта повесть, которую следовало бы причислить к его высшим творче-

³ Шевченко Т. Г. Письмо от 19 февраля 1841 г. // Собрание сочинений: в 6-ти т. – Т. 5. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 256.

⁴ Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Львів, 1910. – С. 89.

⁵ Друг. – 1876. – Ч. 20. – С. 318.

ским достижениям, осталась неоцененной и первыми читателями, и позднейшими литературоведами.

Начинается она с педантично серьезного внешне, но исполненного подспудной иронии сообщения, что если прежде 21 число июня месяца ни в русской, ни во всеобщей истории никаким достопамятным событием отмечено не было, то в тридцать втором году это произошло. Чтобы мы прониклись глубокой значимостью этого события, писатель сообщает, что случилось оно «в 20-й минуте двенадцатого часа до полудня, при ясном, безоблачном небе, при + 20°». Оказывается, в эту минуту случилось что-то такое, что сделало этот день «навсегда заметным»: «дворовые гуси Никифора Омеляновича Тпрунькевича, не быв никем водимы, наставляемыми, подгоняемы и побуждаемы, сами собою, добровольно и самоуправно, всего счетом 13 гусей серых и белых, обоих полов и различного возраста, перешли с полей владельца своего и взошли на землю, принадлежащую Кириллу Петровичу Шпаку, засеянную собственным его овсом». А Кирилл Петрович, «как был темперамента холерического», «не размышляя долго и не сообразив последствий, приказал тех гусей побить...»

Вся трубно-фанфарная торжественность, которой проникнуто описание столь заурядного происшествия, говорит о глубинном влиянии, которое оказал на Квитку Гоголь. Можно ли не вспомнить как возвышенно, с каким обилием восклицательных предложений описана бекеша Ивана Ивановича, да и самоуправные гуси невольно вызывают в памяти «гусака», приведшего к ссоре с Иваном Никифоровичем. И далее сарказм рассказчика, как говорится, набирает обороты.

Всему этому уделены лишь три первые страницы довольно объемной повести Квитки, не содержащие и подступа к основному ее сюжету; автор сам признает, что они служат в ней «вместо предисловия», но они в ней едва ли не самые ценные, самые «гоголевские», дающие яркое представление о творческой манере Квитки-сатирика. На этом фоне и развивается основная сюжетная линия – любовные отношения капитана Ивана Семеновича Скворцова и дочери Шпака Пелагеи Кирилловны, которые, преодолев многочисленные препятствия, завершаются счастливым браком. Не последнюю роль в этом играет перекочевавший в «Украинских дипломатов» из Квиткиной драматургии едва ли не самый известный из созданных им образов – денщик по прозвищу Шельменко. Напомним, что фамилия эта значащая: шельма – жулик, плут, мошенник, пройдоха. Таков он и здесь и, как в пьесах, неизменно вызывает читательские и зрительские симпатии.

Сочетание двух стихий: лирической и сатирической – ощущается в этой повести особенно отчетливо. Но нельзя сказать, что она как-то выделяется этим на фоне других – это свойство многих произведений писателя. Вспомним хотя бы повесть «Козырь-девка». Основное ее содержание – история самоотверженной борьбы девушки Ивги за спасение своего возлюбленного, несправедливо обвиненного в тяжелом преступлении. Но в процессе проявляемых ею отчаянных усилий перед нами возникают впечатляющие картины административного и судебного произвола, которые были хорошо знакомы Квитке по его прошлой деятельности. Нет сомнения, что все завершилось бы для невинного парня каторгой, если бы не то, что древние римляне называли «*dues ex machina*»: в развитие событий неожиданно вмешивается благородный и добросовестный губернатор, который, тщательно разобравшись в деле, наводит порядок.

Заслуживает особого внимания и повесть «Сердешная Оксана» хотя бы потому, что почти одновременно сходный сюжет был разработан и Шевченко в поэме «Катерина», о чем говорится в письме Квитки к поэту от 23 октября 1840 г.: «А что „Катерина“, да да, что Катерина! Хорошо, батенька, хорошо! Больше не умею сказать. Вот так-то москалики-военные обманывают наших девчаток. Описал и я „Сердешную Оксану“ точнехонько как и Ваша „Кате-

рина“. Будете читать, как пан Гребинка отпечатает. Так-то мы одно думали про бедных девчаток и бузовирих москалей»⁶.

Изображая Оксану в письме к Шевченко лишь невинной жертвой коварного москаля, Квитка вступил в заметное противоречие с содержанием собственной повести. Очень важно для ее характеристики – а Квитка напоминает нам об этом неоднократно! – что стремление Оксаны стать женой капитана, при всей несомненной искренности ее чувств, отнюдь не так бескорыстно, как это было, скажем, у Маруси и Ивги: она «думала все о панстве, об роскоши», о том, что любящий ее пан богат: «она видела на его мундире золото», что «вот, вот она станет панею». Позиция Квитки в подходе к этой ситуации впечатляет своей тонкостью и тактом. Ни в одном из многочисленных лирических отступлений, содержащих обращения автора к своей героине, нет и тени упрека. Но самим изображением происходящего и испытываемых Оксаной эмоций он подводит нас к выводу, что известная доля вины за постигшие ее несчастья лежит и на ней самой.

Любимые его герои – люди, способные вызывать восхищение своей самоотверженностью. Такие изображены в повестях «Божии дети» и «Вот любовь!». Произведения эти очень разного уровня. Первое – примитивное, откровенно назидательное, но второе принадлежит к числу тех, которые были Квитке особенно дороги и действительно представляет собой одно из его наиболее значительных творческих достижений.

Героиня повести Галочка отказывается от брака с поручиком Семеном Ивановичем, который для нее дороже всех на свете, и объясняет этот отказ именно любовью к нему и заботой о его счастье. Она говорит, чем ее любовь отличается от того, как любят другие. Если бы, говорит она, я любила вас «легко» (обратим внимание на это очень важное слово!), то чего было бы и желать: «Я из мужички делаюсь барыней, муж у меня молодой, красив – как нарисованный; хотя на месяц я потщеславилась бы, а потом, что бы с ним ни случилось, хотя бы пострадал чрез меня, хотя бы и оставил меня, мне все равно было бы. <...> Так я же вас не так люблю! Волос ли с вас падет, а у меня сердце разорвется; вам беда только приходить будет, а я буду страдать! И потому-то лучше хочу целый век мучиться, горе терпеть, всякие муки перенести, лишь бы маленькую беду отвести от вас!.. Нет у меня другого желания, как ваше спокойствие, счастье; нет у меня мысли, жизни, всё вы. Через вас, для вас и вами только живу!..»

Здесь смысловой и эмоциональный центр произведения, ключ, может быть, единственный, к правильному пониманию и его идеи, и его заглавия. Возьмем на себя смелость утверждать, что русское название повести глубже отвечает ее содержанию и идейному смыслу, чем украинское. «Щира» значит искренняя. Но разве можно взять под сомнение искренность любви Маруси или Ивги? Тем не менее никто не сказал бы об их чувстве: какой героический подвиг! Какое самоотвержение! Обе они стремились к счастью, притом Ивга, спасая возлюбленного, боролась за свое счастье, и именно настойчивость и энергия, проявленные ею в этой борьбе, вызывают наше восхищение. Но не о Марусе и не об Ивге Квитка написал повесть, демонстративно озаглавленную восторженным восклицанием «Вот любовь!», и ни о ком другом, а только о ней ее было сказано: «Галочка – любимое мое дитя!»

В последние годы жизни место в его творчестве беллетристики в точном значении этого термина заметно ослабевает. Зато превалирует внимание к исторической тематике, которое реализовалось в повести «Головатый», опубликованной в 1839 г. и снабженной скромным подзаголовком «Материал для истории Малороссии». В полном соответствии с установленными фактами Квитка показал в ней решающую роль Головатого в очень важном событии – преобразовании Запорожской Сечи.

На первых страницах повести «Головатый» Квитка вскользь упомянул о страхах, который вызывали рассказы о «знаменитом Гаркуше». А вскоре у него созрел замысел и самому

⁶ Квитка-Основьяненко Г. Ф. Твори: у 8 т. – Т. 8. – К.: Дніпро, 1970. – С. 200.

написать об этом человеке, о котором ходило множество легенд, но достоверных сведений было мало. Образ благородного разбойника, некоего украинского Робин Гуда, привлекал к себе внимание и был неоднократно запечатлен и в литературе, и в фольклоре, и в публицистике. Но отношение к нему Квитки было более сложным, чем у других авторов, скажем, у Сомова или Нарежного. С одной стороны, мы узнаем, что «Гаркуша никого не убил и не погубит никого ни за какие блага в мире. Он и не грабит благо нажитого. Одним словом, Гаркуша ни одному человеку безвинно не причинил даже испуга, не только зла. Вся цель Гаркуши исправить людей и истребить злоупотребления. <...> Гаркуша искореняет зло, преследует пороки людей».

С другой – на последних страницах повести в ее авторе словно пробудился законопослушный подданный николаевской империи и предшествующие оправдания деятельности Гаркуши сменяются ее осуждением. Гаркуше предстоит оппонент, обозначенный как «Молодой человек», и он выдвигает суждения, на которые самоотверженный разбойник не находит что возразить. Гаркуша, утверждает он, заслуживал бы извинения в неустроенном обществе, но в государстве, где суд определяет справедливую меру наказаний, где власть печется об общем благе и спокойствии каждого, читай: в николаевской России, «Гаркуша есть злодей, возмутитель общего спокойствия, требующий всеобщего преследования и искоренения зловредных действий его». Конечно, Квитка видел, в какой степени этот приговор противоречит всему предшествующему повествованию о деятельности Гаркуши: с одной стороны, Гаркуша «с такой удачей действовал» и «некоторых облагодетельствовал» и не его вина, что он слыл разбойником, с другой – «заблуждающийся ум самонадеянного Гаркуши» и «в суждении молодого человека вся сентенция».

«Предание о Гаркуше» не принадлежит к числу наиболее известных произведений Квитки и в сущности находится на периферии внимания как его читателей, так и исследователей. Вместе с тем трудно назвать что-либо из созданного писателем, где так определенно и однозначно отразилась бы его общественно-политическая позиция.

Квитка – сатирик, и обличение современных ему порядков и нравов занимает в его творчестве важное место. Когда он изображал явления, происходившие на его глазах, он проявлял гражданскую зоркость, его критика бывала жесткой и язвительной. Но мишенью критики Квитки обычно оставались, так сказать, «низовые» явления тогдашней действительности: своеволие и жадность помещиков и чиновников, мздоимство судей, мещанские нравы и обычаи, разного рода жульничество, эгоизм и стяжательство в общественном и семейном быте и т. п. Искоренение этих зол он склонен был связывать с мудрыми действиями вышестоящих инстанций.

Квитка всегда оставался убежденным и принципиальным противником любых форм бунтарства, которое не может быть оправдано никакими, даже самыми благородными побуждениями. Искоренение недостатков – это забота и исключительное право правительства, высокопоставленных властей и, наконец, благодетельного монарха. Характерно, что свое намерение изобразить отрицательные явления современной ему действительности он определял словами: «возопить перед правительством».

Ни в каком другом произведении писателя эти его воззрения не выразились с такой определенностью, как в «Предании о Гаркуше». В монологах молодого человека, заключающих в себе, по собственному указанию автора, основную идею вещи, или, как он говорит, ее «сентенцию», отчетливо проступают жанрово-стилевые особенности политического трактата, своего рода манифеста. Как это нередко бывает в настоящей литературе, в «Предании о Гаркуше» воплотились две правды. Присутствует в нем и симпатия к главному герою: добрые побуждения Гаркуши писателю близки, он изображает их с несомненным сочувствием. Но любые попытки противодействовать существующим порокам со стороны отдельного гражданина он считает недопустимыми.

Как борется за справедливость любимая его героиня, «kozyрь-девка», самоотверженная Ивга? Обивает пороги, ходит по инстанциям: умоляет о помощи писаря, одаривает бубликами судью, чтобы он ознакомился с делом, – так можно, ее действия автор одобряет, и в итоге они увенчиваются успехом, потому что покорные и приниженные мольбы попавшей в беду женщины находят понимание у справедливого и добросовестного губернатора.

А вот путь, на который стал Гаркуша, путь борьбы за свои права, наказания творящихся бесчинств – решительно отвергнут. Все это заслуживает особого внимания и потому, что «Предание о Гаркуше» появилось немногим более чем за год до смерти писателя. Это произведение итоговое, запечатлевшее те убеждения, которые были им выношены на протяжении всей предшествующей жизни и с которыми он покинул этот мир.

А через шесть лет после его кончины в журнале «Москвитянин» появилась почти не замеченная ни тогда, ни позднее публикация, озаглавленная «Г. Ф. Квитка о своих сочинениях» с редакционной пометой: «Из оставшихся бумаг. Доставлено И. Ю. Бецким». Есть все основания считать, что это произведение, не имеющее авторского заглавия, – последнее, что было написано Квиткой, и уже по этой причине от него нельзя бездумно отмахнуться. Иван Егорович (Юрьевич) Бецкий (1818–1890) – украинский литератор, издававший в 1843 г. при участии Квитки альманах «Молодик» и продолживший его издание в 1844-м, поэтому факт, что именно у него оказались предсмертные рукописи писателя, вполне естествен. Несмотря на свою несомненную принадлежность Квитке, этот текст оставался незамечен на протяжении более чем столетия. Объясняется это, как можно предположить, его необычным характером. На первый взгляд может показаться, что в нем не прослеживается скрепляющей его идеи, а мы имеем дело с несколькими набросками, контаминированными публикатором.

Но при более вдумчивом подходе становится ясно, что в действительности перед нами произведение, скрепленное единой мыслью и единой целью, и его продуманная композиция призвана послужить реализации этой цели. Квитка дал нам ключ к правильному пониманию им сказанного. На протяжении относительно небольшой восьмистраничной статьи он ЧЕТЫРЕ РАЗА повторяет один и тот же стих: «Да вы умны – смекайте сами». Разумеется, он адресовался читателю, который знал, что это строка из назидательной поэтической миниатюры И. И. Дмитриева «Часовая стрелка», в которой легкомысленная Стрелка хвалилась тем, что всеми руководит и каждому означает время.

Это был призыв в каждом случае, при подходе к каждому явлению или проблеме не оставаться на поверхности, а идти вглубь, выяснять сущность, скрытые побудительные мотивы и ускользающие от поверхностного внимания результаты.

Последуем данному нам совету и «смекнем», что стремился сказать Квитка своей статьей. Он говорил о том, что, принимаясь за перо, был очень далек от стараний добиться успеха на литературном поприще и забраться на литературные подмостки, никому не подражал, ни за кем не карабкался. Он всегда оставался верен себе: «известности, похвал не искал и не забочусь приобрести их; осуждения пропускаю мимо ушей, все-таки помня, что всем не угодишь и трудно заставить других мыслить по-нашему. Есть добрые люди, читают мои повести, хорошо; поймут цель, к чему что сказано, я утешен, а до прочего мне нужды мало»⁷.

Обратим внимание на слово «цель», оно здесь главное, к объяснению целей, на которые были направлены его усилия, Квитка вернется неоднократно. Задавшись целью продемонстрировать возможности украинского языка, он сделал это путем обращения к творческой практике. Сам писатель говорит об этом так: «Чтобы доказать одному неверующему, что на малороссийском языке можно написать нежное, трогательное, я написал „Марусю“» и, добавив к ней «Солдатский портрет», «пустил их в свет».

⁷ Москвитянин. – 1849. – Ч. VI, № 20. – Кн. 2. – С. 329.

«Вслед за этим книгопродавец потребовал еще части: „требуют-де“. Изволь, батюшка, вот тебе и вторая часть. Что говорено о сих повестях, еще не забыто; делалось недавно. А что повести, театральные пиесы печатаются вторым и третьим изданием, так это уверит гг. издателей „Рус <ского> вестника“, что они ошиблись в своем заключении, будто малороссийский язык доступен весьма немногим читателям. Зачем же в повестях, комедиях вводят его великорусские писатели? Проезжает чрез наш город писатель, ценитель, судья, наставник и учитель истинного русского языка. Отыскал меня, потребовал переложить малороссийские мои рассказы слово в слово, не переменяя их, на теперешний русский язык, чтобы выставить особенные обороты, силу и оригинальность малороссийского языка»⁸.

Далее Квитка возвращается к вопросу, имеющему для него первостепенное значение, – о цели художественного произведения. Он готов согласиться, что не все его вещи «написаны в одном духе и с одинаковою силою. Это участь человека. Не только мы, но и ученые, отличнейшие писатели не равны в своих сочинениях. Пишется, что бог на мысль послал, была бы цель нравственная, назидательная, а без этого как красно ни пиши, все вздор, хоть брось. Пиши о людях, видимых тобою, а не вымышляй характеров небывалых, неестественных, странных, диких, ужасных <...> Хотя бы и в „Маргарите Прокофьевне“ неужели нет цели? Мне хотелось в одном ее лице показать действия, хитросплетенные умствования всех и во всем лицемерствующих; сего рода люди намерение свое – поживиться мало-толику от ближнего прикрывают благовидною причиною, обещают блаженство, спокойствие, утеху, получение отличных книг, и сё и то... и все обещают в будущем, а денег требуют теперь же. Вот и встречаем Маргарит везде <...> Вот в простом классе людей необразованном, где люди действуют не по внушенным им правилам, не по вложенным в них понятиям, а по собственному чувству, уму, рассудку, если замечу что такое, пишу; вот и выходят мои Маруси, Оксаны, Наумы, Мироны, Сотниковны, и проч. и проч.»⁹.

Как уже говорилось, текст, опубликованный в «Москвитянине» под заголовком «Г. Ф. Квитка о своих сочинениях», был обойден вниманием. И лишь в 1988 г. авторы коллективного труда «История украинской литературной критики», словно прозрев, дали наконец этому произведению давно заслуженную им оценку: «Наиболее систематичным и глубоким изложением литературного „верую“ Квитки-Основьяненко, его взглядов на актуальные проблемы литературного процесса стала опубликованная в журнале „Русский вестник“ статья под названием „Г. Ф. Квитка о своих сочинениях“»¹⁰.

Не будем фиксировать внимание на фактической неточности – опубликованию статьи не в «Русском вестнике», а в «Москвитянине». Важнее другое: содержание и значение статьи Квитки недооценено и обужено и здесь. По нашему убеждению, легкомысленно усмотреть в этом многостороннем, можно сказать, исповедальном документе, предсмертном крике души писателя лишь суждения о литературе и требования к художественным произведениям. Они о людях, о жизни, о морали. За ними перед нами встает сам Квитка во всей определенности и красоте его нравственного облика. Он воздействует на нас не только своими произведениями, но и тем, каким он был, как прошел свой жизненный путь.

Через 15 лет после смерти Квитки Добролюбов в статье о его современнике Станкевиче напомнил, как благотворно действует на окружающих «вид человека, высоко стоящего в нравственном и умственном отношении». Квитка и Станкевич не были похожи друг на друга, но оба они соответствовали добролюбовской характеристике. Квитка был человеком своего времени, и нам сегодня, может быть, и найдется, в чем его упрекнуть. Но его нравственный уровень и

⁸ Там же. – С. 330.

⁹ Москвитянин. – 1849. – Ч. VI. № 20. – Кн. 2. – С. 332–334.

¹⁰ Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 57–58.

благородство его побуждений подтверждены и всей его жизнью, и всеми его произведениями, в том числе и собранными в этой книге.

Л. Г. Фризман

Малороссийская проза



1778 — 1843

Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком Книжка первая (1834)

Солдатский портрет С малороссийского рассказа Латинска побрехенька¹¹

Когда-то, где-то, был себе какой-то маляр¹², по имени... Вот на уме вертится, как звали его, да не вспомню... Да и нужды нет до его имени, нам важно его искусство. Пусть пока маляр, да и только. А как чудесно малевал, так на удивление! Вы подумаете, что он малевал так себе, просто, как-нибудь, намешает краски, зеленой, синей, вишневой, да так прямо и мажет стол или сундук? Э, нет, погодите немного. Бывало, что завидит, что подсмолит, сразу с того портрет и откатнет: хоть будь это ведро или собака, так словно настоящее оно и есть... Посвистишь и замолчишь от удивления. Да еще бывало, намалюет, примером сказать, сливу, да и подпишет – он же был грамотный. – «Это не арбуз, а слива». Знаете, чтоб всякой отгадал, что оно есть так точно так и есть, настоящая, словно живая слива.

Раз... Вот смех был! Хлопцы наши от хохота чуть животов не надорвали себе. Шутки ради смалевал он портрет с кобылы нашего мельника, да как живо смалевал, так на удивление всему свету. Вот, намалевавши, и говорит нам:

– Теперь, хлопцы, смотрите, какая будет комедия. А мы говорим:

– А ну, ну, что там будет? А он говорит:

– Идите-ка за мною и несите портрет мельниковой кобылы.

Вот мы, взявши, и пошли себе, да по его научению поставили этот портрет подле мельникового двора, подперли его хорошенько и смотрим... Таки точно мельникова кобыла, на один глаз слепа, хвост вырван, ребра повылазили, да и голову понурила, будто пасется.

Вот как устали ее, а сами, взявши, присели под плетнем в бурьян и ждем мельника, а сами крепимся сколько можно, чтоб не хохотать. Как вот, идет наш мельник Евтух и, видно было у него в голове, идет и песенку под нос себе мурлычет; а потом и завидел кобылу и говорит:

– Какой негодный мой Охрым! (Мельник не последняя спица в селе; доходы позволяют ему иметь и батрака, так он его имел, вот батрака-то и звали Охримом.)

– Кобыла, – так мельник с собою рассуждает, – к ночи сошла со двора, а ему и нужды нет. Как бы мне поймать ее?

Потом снял с себя пояс, завязал петлю, да и начал подкрадываться к ней, да все чмокает и приговаривает:

– Тпрусё, рябая, тпрусё!

А потом как подошел поближе, как закинет ей на шею пояс, как потянет к себе изо всей мочи... Подпорки не удержали... Кобыла начала валиться, а мельник думает, что она вырывается от него; как закричал во весь голос:

¹¹ Рассказ Грицька Основьяненка: Солдатский Портрет был напечатан по-Малороссийски; имел большой успех; для незнающих Малороссийского наречия, конечно, приятно будет прочесть эту повесть в Русском рассказе самого автора; для каждого, даже для Малороссиянина, Солдатский Портрет в Русском переводе справедливо покажется новостью. *Редактор.*

¹² *Маляр* — художник (от укр. слова «малювати» – рисовать). В украинском языке есть и слово «художник», но Квитка использует его синоним, видимо потому, что он более соответствовал общей сниженной, шутильной тональности произведения. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Тпрру! тпрррру-у-у!

Тут наша кобыла как упадет, а мы как захохочем и... давай бог ноги оттуда... Евтух наш и остался как вкопанный; руки и ноги одеревенели и ни с места; а кобыла перед ним лежит, откинув ноги... Уже потом, как-то в беседе, рассказывал нам, что и долго бы стоял, не понимая, что с ним сделалось, да мельничиха пошла его отыскивать; знаете, немного ревнивенька была себе, так не любила, если муж где засиживался. Так вот она как увидела так стоящего, почти вне ума, то не знала, что и делать с ним: и отдувала, и водою брызгала, а он все, вытараща глаза, глядит на кобылин портрет, все думает, что это она живая перед ним. Уже как смерклось, так тогда она на превеликую силу с места свела и ввела в хату; а он знай свое твердит:

– Тпрусё, рябая, тпрусё.

Что же? Целую ночь дрожью дрожал, как будто лихорадка его бьет и в глазах все кобыла представлялась. Жена подойдет, а он все думает, что кобыла, да все свое толчет:

– Тпрусё, рябая, тпрусё.

И до тех пор так было, пока она его не напоила шалфеею¹³; тогда только как рукою сняло. Вот что значит сильный перепуг!

Пожалуйте же. К чему же это я начал вам рассказывать? Да, о маляре... те, те, те, те...

Теперь вспомнил, что звали его Кузьмою, а по батюшке Трофимовичем. Как теперь гляжу на него: в синей *юлке* (камзоле), затрапезных, широких шараварах, пузо подпоясано каламайковым¹⁴ поясом; а поверху надета китайчатая черкеска; на шее, сверх белого воротника, повязан красный бумажный платок, сапоги коневьи¹⁵, добрые, с подковами; волос черный, под чуб подстрижен, а усы рыженькие, густые и длинные; не часто брился, так борода, всегда как щетка; в горелке не упражнялся так чтоб через край, а с приятелями, в компании, не проливал мимо; славно певал на клиросе, читал бойко и гласы¹⁶ знал так, что и сам пан Афанасий, вот если знаете, дьячок наш, и тот спотыкался на его напевы, как заведет по-своему. А уж этот проклятый табак так любил, что не то что; хлеба святого еще не съест, а без этой мерзости и дышать не может. Был себе пузат порядочно, а родом, если слыхали Борисовку, в Курской губернии, слобода графа Шереметева, так он оттуда был родом. В той Борисовке наилучшие богомазы¹⁷, иконописцы и всякие маляры. Из той-то слободы маляр и в нашем селе зеленил крышу на колокольне; да как искусно, на удивление! Такая крыша вышла зеленая, словно трава в поле. Уж негде правды девать: никто лучше ни намалует, ни размалует, как богомаз из Борисовки; уж не жаль и денег. Как же москаль возьмётся за это дело, так ну! Почешись, да и отойди. Торгуется, требует всего много: дай ему и материал, и всякой провизии, и денег, а как удерет, так гай, гай!.. Ему говоришь: это *блакитна*, а он называет по-своему: синяя-ста. Ему говоришь: не годится, а он чешется, смеется и знай свое толчет: ничаво-ста, для хохлов и такое бредёт.

Так вот, как Кузьма Трофимович был очень искусен в малярстве, то об нем слава прошла по всему свету. Услышал о нем какой-то пан, большой охотник до огорода; так вот видите, беда ему: что б он ни посеет, то воробьи в лето все и выклюют. Вот он и позвал нашего Кузьму Трофимовича, чтоб намалевал ему солдата, да чтоб так списал, чтоб был бы словно живой, чтоб боялись его все воробьи; а будет, говорит, какая фальшь, прикину тебе, не возьму. Вот и сторговались за два целковых, и как уже известно, что ни один мастер ничего не возьмётся делать без водки, то Кузьма Трофимович выговорил себе еще и осьмуху водки. Вот и намалевал он солдата, да еще как! Я говорю и уверяю вас, что и живой не будет так гадок, как он его

¹³ Шалфей – растение, листья которого использовались в медицине и парфюмерии. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁴ Каламайковая (каламенковая) – сделанная из каламенка – пеньковой или льняной ткани. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁵ Коневий — сделанный из лошадиной кожи. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁶ Гласы – здесь: звуки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁷ Богомаз – плохой иконописец. (Прим. Л. Г. Фризмана)

искусно намалевал: мордатый, обдутый¹⁸, с пристрашнейшими усами, что не только воробью, да и всякому человеку глядеть на него страшно. Мундир на нем обвис хватски, словно мешок, застегнут везде пуговицами величиною в кулак, сабля бравая, как водится, с правого бока, а ружье!.. уж погибель его знает, как он живо смалевал! Глядишь и боишься, думаешь, вот выстрелит! и подступить не смеешь. А присмотришься на него, так вот, кажется, вот он и шевелится, вот моргает усом, глазами, носом, руками дергает, ногами шевелит, против воли боишься и думаешь: вот побежит... вот станет бить!.. Так-то был искусно намалеван. Думаю, что во всем свете не было так живо списанного солдата.

Нуте. Покончивши этот портрет, Кузьма Трофимович думает себе: «Может, и не ужогу пану, тогда пропали и издержки мои, и работа. Повезу куда на ярмарку, поставлю на базаре и стану прислушиваться, что будут люди говорить. Когда станут его пугаться и прятаться, как водится, от живого солдата, тогда, Кузьма, смело бери деньги; когда же найдут что не так, то буду подправлять, пока доведу до конца».

Собрался наш Кузьма Трофимович и повез своего солдата в Липцы, когда знает кто; вот что верст тридцать от Харькова на дороге к Курску, большая слобода. Привезши туда, в самую глухую полночь, как еще подле своих возов все съехавшиеся на ярмарку и хозяева в хатах крепко спали, и даже из кабаков народ разошелся, и огонь погасили, он и поставил тот портрет на самой ярмарке и подпер его еще крепче, нежели мельникову кобылу, чтоб ветер или какой пьяный, а их на ярмарке, как известно, всегда много, ходя и шатаясь и наткнувшись на портрет, не свалил бы его; сам же за портретом, накинуд над собою навес, сел, чтоб прислушиваться, что будет толковать о нем народ, и, чтоб поправить какую ошибку по замечаниям других, приготовил и палитру с красками. Управившись со всем, присел, приклонил голову и вздремнул немного, пока дойдет до дела...

Как вот и рассветать стало. Еще не пригасили все звездочки, как уже наш Кузьма Трофимович и встрепенулся; понюхал табаку, вычихался, протер глаза полою; некогда уже было идти за водою, чтоб умыться; подпоясался снова и пояс притянул покрепче, надвинул шапку к самому носу и рукавички достал, а это, знаете, было около *первой пятницы*¹⁹, так зори уже холодные были. Изготовившись, ожидает, что будет.

Прежде всего блеснул огонек в кабаке... Гай, гай! Уже и в Липцах, между нашим народом, завелись, как будто и в самой России, вместо шинков, кабаки! Откуда же это так стало? Общество нас так скрутило, чтоб, видите, откупщик²⁰ за тех, кто не сможет платить податей, взносил бы деньги; вот и нашелся, да не из настоящих откупщиков, а – нечего греха таить – нашелся из наших же и взялся держать и Липцы, и другие слободы на московский лад; и уже называется не шинок, а кабак; и там уже во всем другая натура, осьмухи нет, а нечестивая кварта²¹. О, да и проворный же народ! Недоест, недоспит, все о том только и хлопочет, чтоб зашибить копейку. Такая их натура! А как только в этих кабаках нашего *братчина* обдуривают, так ну, ну, ну! Вот это придешь в кабак с своею посудой, чтоб взять в дом на сколько мне надобно горелки, да если засмотришься куда по сторонам или заслушаешься, что москали начнут между собою разговаривать по-своему, что и не разберешь ничего, то тут и не дольют полной меры, скорее вливает в свою посуду и уже хотя спорь, хотя бранись, а он тебя вытолкает вон. Когда же тут на месте хочешь выпить, то прикинется будто и добрый; за гривну почерпнет из кадки полнехонькую чарку... Тут примешься усы разглаживать, утираешься, причмокиваешь с удовольствием и воображаешь, как это знатно выпьется натошак... да только что доносишь чарку до рта, и ещё не донесешь хорошо... как тут – вражья мать его знает, где это *мос-*

¹⁸ *Обдутый* – одутый, одутловатый. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹ 14-го октября, Св. Прасковьи, называется первая пятница; 28-го октября мученицы Прасковьи, другая.

²⁰ *Откупщик* – купец, «откупивший» себе право на какие-либо доходы или налоги. (Прим. Л. Г. Фризмана)

²¹ *Кварта* – мера жидкости, десятая или восьмая часть ведра. (Прим. Л. Г. Фризмана)

кальча у аспид²² возьмется, таки словно как тут, что... Дух-Свят при нашей хате!.. Подбежит, подтолкнет... Плюх!.. больше половины чарки назад в кадку!.. Беда, да и полно! И уже пьешь и остаток скорее затем, что тут разливальщик уже отнимает чарку. Кажется, и выпил, так что ж?.. Точно, как есть поговорка: по бороде текло, да и в рот не попало; и чтоб для здоровья пошло по животу, так и не говори; нечего было и проглотить порядочно. От такой беды вынимаешь другую гривну, что хотел для дому купить соли, теперь пропиваешь ее против воли. Вот такая-то их вера, чтоб содрать со всех; куда им уже и спать при такой охоте к наживам? Да-таки и то правда, что тут спит, и тут думает, чем бы то и где бы-то поживиться.

Так вот, как засветилось в кабаке, то и выслали от себя *подтолкачку*, не увидит ли кого уже бродящего по улице, так бы скорее зазывал в кабак. Выбежал и оглядывался...

– Посмотрите на него, на что оно похоже... Что бы ему голову под чуб подстричь, как водится у людей? *А то патлатый, патлатый!* Волоса по лбу длинные, даже в глаза ему лезут, уши закрывают, по затылку болтаются; и все только, сердечный, головою потряхивает, чтобы волосы не мешали ему глядеть и слушать. И рубашка на нем также не по-людски: вместо белой, как повелевает закон, она у него красная или синяя и без воротника, а с крючком, да на плече полу застегнет; так что, кто из нас в первый раз отроду увидит москаля, так и не отгадает, что *оно* такое есть.

Вот такой-то стал подле двери кабака, посматривал сюда-туда и увидел, что солдат с ружьем стоит на карауле; вот он и стал кликать его: «Служба! Поди-ка сюда. Стань *тут-здесь*, чтобы подчас, когда будет драка, так не дай нас в обиду; а порция от нас будет». Солдат стоит, не ворохнётся. *Москальча крикнуло* в другой раз, кричит и в третий... Солдат ни с места. *Москальча испугалось*, чтобы солдат не рассердился и не дал бы ему таски, оставил его, поскорее в кабак и запер за собою дверь. Слышавши все это, Кузьма Трофимович усмехнулся, моргнул усом и подумал себе: «Не велика штука обдурить москаля. Увидим, что будет далее».

Затем появилось и солнышко. Тут встрепнулись и наши, что понавозили муки из Деркачей, Олышаной, были из Коломака. Что это, батеньки, из каких-то мест не понавозили на ту ярмарку разного хлеба! Таки видимо-невидимо стояло тут возов! Если сказать, что тут было возов двадцать, то, ей же то богу моему, гораздо более. Тут и рожь, и овес, и ячмень, и пшеница, и гречиха, и просо – и все, все было. Знаете, пришло время вносить подушное²³, так всякому деньги нужны. Наш братчик не бабак²⁴, себе на уме, ждет поры-времени. Слава тебе господи! Он не станет так поступать, как москаль, что покинет и жену, деточек и всякое хозяйство, да за тою бедною копейкой *шляется по всем-всюдам* и забредет даже на край света, да кровавым потом добывает ее. Да чего таки и мудрить? Когда уродил бог хлеба и дал его собрать, то и ожидай, пока придёт нужда и десятские²⁵ потянут тебя в волостное правление, требуя подушного в общественную сумму; а тут жена затеет льну прясть для рубашек на всю семью, дети требуют к зиме обуви и теплой одежи, да и всякая такая напасть постигнет, что на все нужно денег, тогда уже некуда деваться – вези товар хоть верст за двадцать, и стала ли на базар цена или нет, а ты первого торгу не бросай, за что случилось, продай скорее, лишь бы недолго стоять на месте и скорее добраться домой; тут отдай на что кому нужно и как удоволил всех, вот тогда уже исправный казак! Лежи себе на печи в просе... пока до новой нужды. Тогда ж и думать будем, откуда что взять.

Вот такие-то были хлопотливые хозяева там, и уже сон их не брал. Взошло солнышко, они и вскочили, чтоб, знаете, не упустить купца. И вот, славненько вставши, помолились к церквям Богу и одного из табора послали за водою; время было кашу варить. Побрел Охрим с

²² *Аспид* – ядовитая змея, в переносном смысле: злой человек, скряга. (Прим. Л. Г. Фризмана)

²³ *Подушное* – налог, который собирался «с души». (Прим. Л. Г. Фризмана)

²⁴ *Бабак* (байбак) – степной сурок, в переносном смысле – сонный, неповоротливый человек. (Прим. Л. Г. Фризмана)

²⁵ *Десятский* – начальник над десятью людьми. (Прим. Л. Г. Фризмана)

двумя баклагами²⁶ к колодезю, вон туда под гору идет по улице... Хлоп глазами... стоит солдат... Охрим был себе парень учтивенький, снял шапку, поклонился и сказал: «Добрый день, господин служивый!» Солдат молчал. Охрим пошел своею дорогою, а Кузьма Трофимович усмехнулся и подумал: «Ну! обдурил и своих». Вот Охрим, набравши воды и возвращаясь к табору, думает:

«Вот же тут Остя постой! А что, если я спрошу, не нужно ли им для лошадей овса или муки какой?»

Так думая и поравнявшись с солдатским портретом, говорит:

– Господин москаль! Будьте ласковы, скажите своему *командирству*, когда нужно им овса или муки какой, то пускай придут вон к тому табору и спросят Охрима Супоню: а у меня овесец важнейший, дешево отдам, и мера людская: восемь с верхом и три раза по боку ударить. Пожалуйста же, не забудьте, а магарыч мой. Для начала же знакомства, нуте-ка, понюхаем табаку.

И говоря это, достал из-за голенища рожок, постучал им о каблук и насыпал на ладонь; сам понюхал, крикнул, подносит солдату и, чтобы вернее подружиться с ним, приговаривает:

– Кабака гарна, терла жинка Ганна; стара мати, вчила мняти; дочки разтирали, у рижкы насыпали. Ось подозвольте лишен.

Солдат *ни чичирк*, ни пары с уст и усом не моргнет. Не промах Охрим, взял себе на ум. *Цур ему*²⁷ и думает себе: чтоб еще по морде не дал, он на то солдат. И поднявши баклагы с водою, пустился улепетывать к табору, не оглядываясь... А Кузьма Трофимович все это выслушавши, начал тихонько *ких, ких, ких, ких*... За бока берется да хохочет.

Пока это делалось, поднялись идти на базар бублейницы²⁸, булочницы и те, что чашечками пшено, а ложками *олею* продают. За ними подбегали с пирожками, с печеным мясом, с вареными рубцами, горохвяниками²⁹ и всякими ласощами, что нужно людям для завтрака. Всем перёд вела Явдоха Галупайчиха; славная молодлица, не взял ее чёрт! Чернявая, мордатая, немного курносая и румяная, как рожа, и притом-таки и нарядна: *очипок*³⁰, хотя он себе и вовсе вытертый, почти одни нитки остались, но заметно было, что был когда-то парчовый; тулуп белых смушков³¹ под тяжиною³² и *бабином* обложен, только весь на прорехах и дырах под рукавами и на боках, но это ничего: зато видно было, что вся одежда на ней не простая, а мещанская; она была взята в Липцы из самого Харькова, так уж тут простого и не спрашивать. Шушун ситцевый, юпка каламайковая, только уже не можно было различить, что какого цвету, потому что крепко замазано было олеею; она не только пекла бублики, но и сладёное, а около такого дела не можно чисто ходить, зараз выпачкаешься, как чёрт тот, что к ведьме через трубу лазит.

Вот молодлицы к Явдохе:

– А ну, пани-матка! Выбирай место на счастливую продажу. Ты у нас голова; где ты сядешь, там и мы подле тебя.

И Явдоха взяла из чужой коробки булку, стала на восход солнца и покатила булку против солнца. Катилась та булка, катилась и, не остановившись нигде, плюхнула прямо подле солдатского портрета.

– Ох мне лихо! – сказала Явдоха, подняв ту булку, и скорее впихнула в свою коробку.

²⁶ Баклага – фляга. (Прим. Л. Г. Фризмана)

²⁷ Цур ему – аналог русского «чур», возглас, означающий запрет на что-либо. (Прим. Л. Г. Фризмана)

²⁸ Бублейница – женщина, которая изготовляла бублики. (Прим. Л. Г. Фризмана)

²⁹ Горохвяники – пироги с горохом. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³⁰ Очипок — чепец. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³¹ Смушки — шкурки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³² Тяжина — вес, тяжесть. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Как-таки подле москаля садится? Он наделает нам такой беды, что не то что! У одной отщиплет, у другой хватанёт, да тут такое будет, что и коробок своих не пособираем.

– Так выбирай другое место! – заговорили прочие молодичи, – уж если и не так будет счастливое, так покойное; не увидит москаль и не изобидит нас.

Перевела Явдоха свой цех³³ чрез дорогу, поворожила опять уже другую и также чужою булкой и, где она упала, там сама с своим товаром села, а молодичи рассадилась, которой где по очереди пришло; а очередь установила сама же таки Явдоха: которые были побогаче, так к себе поближе, а бедную товаром, так на самый хвост, в уголок, куда и чиновник из суда, что в пестрядинном³⁴ халате по базару ходит и с небольшими деньгами покупает дешёвый товар, так и тот такой не отыщет. За такой распорядок в очереди, каждый базар сдирает с подруг своих, что вздумает. О! Да и баба-козырь³⁵ была! Уж и того довольно было, что выросла в большом свете, в Харькове, а тут еще и по природе такая щебетуха, что меры нет. Защищала подруг своих не только от десятских, волостного головы, да и самому писарю не дает поумничать над ними. За такую защиту они все уважали ее и исполняли, что приказывала она. Пусть же бы не послушал кто ее; она и найдет тотчас беду: или собака бублики похватает, олею выпьет, или пьяный, спотыкнувшись, коробку с товаром опрокинет, а уже даром не пройдет.

Только что молодичи порядочно уселись и каждая разложила с своим товаром, как тут москаля и вырядило подле них с гречишниками³⁶. Как же напустятся на него торговки!

– Зачем тут стал? Пошел отсюда прочь! Стань в другом мест, не мешай православным товар продавать, а сам иди хоть к чертям, кроме хлеба святого.

Вот как затараторили, затараторили – известно, как наши женщины: сколько их ни будет, да как все разом заговорят, все в один голос, так и с десятью головами не поймешь ничего: словно вода у мельницы шумит, даже трещит в ушах. Москаль же себе и ничего; знай покрикивает: «гречишники горячие!» И не без того, что некоторые подходят к нему покупать, лакомятся, а на лучший товар, на бублики, не смотрят. Что тут делать на свете! Видят, что не сладят с москалем, пристали к своей атаманше:

– Делай, что знаешь, делай, только изживи москаля.

Придумала Явдоха, как быть: взяла у одной торговки три вязанки бубликов и пошла к портрету и... ну, вот истинно правду говорю... поклонилась ему, словно живому, и начала просить:

– Ваше благородие, господа солдатство! Будьте ласковы, сведите с нашего места вон того несносного москаля, что стал подле бублейниц с своими гречишниками.

Видит же, что солдат и не глядит на нее, она, зная, как поводить в свете, стала подносить ему бублики и приговаривает:

– Возьмите, ваше благородие! Пожалуйста; дома пригодится. Солдат – ни пары с уст, хотя и бублики перед ним. Как же рассмотрела наша Явдоха, что это обман, что это не живой солдат, а только его *персона*... сгорела от стыда, покраснела как рак, да скорее, не оглядываясь, бежала от него, пихнула бублики в свою коробку и села. Что уже ни спрашивали ее торговки, что ей было от москаля, так молчит и молчит, и говорит:

– Ведь же сжила гречишника? Чего ж вам больше?..

А и точно, москаль как увидел, что Явдоха пошла жаловаться на него, испугался и исчез оттуда с своими гречишниками. Кузьма же Трофимович, смотревши на всю эту комедию,

³³ Цех — общество ремесленников, в переносном смысле — объединение каких-либо людей. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³⁴ Пестрядинный — сделанный из пестряди — грубой бумажной ткани из разноцветных ниток. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³⁵ Баба-козырь — бойкая, энергичная баба. Ср. «Козырь-девка». (Прим. Л. Г. Фризмана)

³⁶ Гречишники — пироги из гречневой крупы. (Прим. Л. Г. Фризмана)

много смеялся и, помаргивая усом, подумал: «Вот так наших знай! Уже к нам, как будто к становому³⁷, с поклонами ходят».

Пока все это делалось, то уже народу собралось очень много. Куда ни кинешь глазом, то везде люди, везде люди, словно саранча в поле. И чего только туда не нанесли или не навезли!.. Такая вышла ярмарка, как будто и в самом Харькове об Успении³⁸. Какого бы только товару ни задумал, чего такого ни есть в свете, все было тогда в Липцах. Груш ли тебе надобно? Так и на возах груши, и в мешках груши, и купами груши, приди, торгуй сколько нужно тебе, из которой купы и сколько хочешь бери и отведывай – никто тебе не запретит. А там Москва с лаптями и лыками³⁹, думаю, для всего света заготовлено лаптей; были у них и миски, и ложки, и тарелки – все размалёванные; были и решета, ночевки⁴⁰, квашни⁴¹, лопаты, черевики⁴², сапоги с подковками и немецкие, одними гвоздиками подбитые. А тут суздальцы с своими богами, да с заваливающими книжками; а подле них сладёница⁴³ с своею печкою: только потребуй, на сколько тебе надобно сладёного, так она живо откроет полу, снимет с горшка, где у нее тесто приготовлено, старую онучу⁴⁴, пальцы послонит, чтоб не приставало тесто, отщипнет теста и на сковороду в растопленное сало... даже закипит!.. Тут и жарит, и подает, и уж на сало не скупится, так с пальцев у нее и течет, а она обмакивает. Роскошь!.. Тут же, подле нее, продается тертый табак и тююн курительный в папушах⁴⁵; а подле железный товар: подковы, гвоздики, топоры, подоски⁴⁶, скобки – и таки всякая железная вещь, какой кому нужно. А тут уже пошли лавки с красным товаром для панов: стручковатый красный перец на нитках, клюква, изюм, фиги⁴⁷, лук, всякие сливы, орехи, мыло, пряники, свечи, тарань⁴⁸, еще весною из Дону привезенная, и сушеная была, и солёная, икра, сельди, говядина, рубцы, булавки, шпильки, иголки, крючки, запонки, а для наших была свинина и колбасы с чесноком. Дёготь в кадках, мазницах⁴⁹; продавались и одни квачи⁵⁰; а подле них бублики, пышки, горохвяники; а особо носили на лотках жареное всякое мясо, кусками изрезанное, на сколько хочешь, готовое, бери и ешь. А там кучами капуста, бураки, морковь огородная, а хатней жены наши не продают, про нужды берегут ее для нас... цур ей⁵¹! Тут же был хрен, репа, картофель. А там из казенной слободы, Водолаги, горшки, кафли, миски, кувшины, чашки... Да я же говорю: нет того на свете, чего не было на той ярмарке, и как бы у меня было столько денег, сколько у нашего откупщика, то накупил бы всего и без хлопот, ел бы через весь год; было бы с меня. А что еще было ободьев, колес, осей! Были и свиты (зыпуны) простого, уразовского и мыльного сукна, были шубы, пояса, шапки хватские, казацкие и ушатые, дорожные. Был и девичий товар: стрички (ленты), серьги томпаковые⁵², байковые юпки (корсеты), плахты⁵³, запаски (род передников), вышитые

³⁷ Становой (становой пристав) – полицейский чиновник, начальник стана в уезде. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³⁸ Успение — Успение Пресвятой Богородицы, церковный праздник, отмечаемый 15 (28) августа. (Прим. Л. Г. Фризмана)

³⁹ Лыки — здесь: рубашки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁰ Ночевки — неглубокие корыта. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴¹ Квашни — кадки, в которых квасят тесто. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴² Черевики — башмаки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴³ Сладёница — мастерица, готовящая сладости. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁴ Онуча — обертка на ноге, заменявшая чулок, подобие портянки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁵ Папуша — связка сухих табачных листьев. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁶ Подоски — железные полосы, врезанные под ось, чтобы уменьшить трение. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁷ Фиги — здесь: винные ягоды. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁸ Тарань — сушеная рыба. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁴⁹ Мазница — деревянная или глиняная посуда для дегтя. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵⁰ Квач — помазок в дегтярнице. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵¹ Когда жена грызёт мужа за что, называется; моркву скромадит, морковь скребет.

⁵² Томпаковые — сделанные из томпака, сплава меди с цинком. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵³ Плахта — женская одежда, подобие юбки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

рукава к сорочкам и платки. Для женщин же: очипки, серпанки⁵⁴, кораблики, рушники вышитые, щетки, гребни, веретена, соль толченая, желтая глина, веники, оловянные перстни... умо-ришься только рассказывая, а осмотреть все это?.. То-то же. Чего только там не было!..

А между таким множеством всякого товара, сколько народа было!.. Крый Мати Божья!.. Чуть ли не более, нежели в воскресные заутрени⁵⁵, когда *дочитываются Христа*, или как на Иордане святят воду... Одним словом, протолпиться невозможно... Тот покупает, тот торгует, тот божится, тот прицениается, тот спорит, тот скликает товарищей, тот выкликает жену, те ссорятся, те идут магарычи запивать, женщины щебечут, разом все рассказывают, а ни одна не слушает; слепцы поют Лазаря⁵⁶, кобылы ржут, колеса скрипят, тот едет возом да кричит:

– По глину, по глину.

Навстречу ему другой, также выкрикивает:

– По горшки, по горшки.

Дети, потеряв матерей, пищат, там воет собака, там придушили поросёнка, и он визжит на весь базар, а свинья, хрюкая, пробирается промежду людьми; там *перекупки* хватают за полы парубков, школяров:

– Поди сюда, дядюшка!

– Возьми у меня паляничку.

Кричат:

– Вот бублики горяченькие, с мачком... Вот паляница легошенькая, только что вынута из печи...

Не разберешь, что они там и кричат, потому что повсюду шум, говор, крик, гам, стукотня, точно, как в мельнице, когда на все камни мелет и вдобавок ступы стучат. А там слышна скрипка и цимбалы⁵⁷. Матвей Шпоня продал соль, рассчитался и грошики счистил, нанял трои-сту музыку и водится с нею на ярмарке. Уж и шапку чёрт взял, где-то кинул ее на кого-то и не хватился. Идет и поет, что есть голосу, а где лужа, прямо в нее и приударит тропака, забрызгался, захлестался... Эге! Да не мешай ему, он гуляет... В одной руке штоф⁵⁸, в другой чарка; кого не встретит, останавливает и кричит:

– Пей, пеский сын, дядюшка любезный! Пей. Матвей Шпоня гуляет, пей в его голову, чтоб ты подавился и был здоров многие лета.

Прежде выпьет сам и потом потчивает; если же тот не захочет, так о землю горелку, а его бранит – ругает, сколько душе угодно, и пристанет к другому, а сам кричит:

– Шинкарь! Подавай Шпоню снова. Музыка, играй *московской метелицы!* – и пошел далее. Идет и увидел дегтярей⁵⁹. Бултых в кадку с дегтем и кричит:

– Дегтарь, не тужи.

Шпоня отвечает деньгами и кинет ему полнехонькую горсть денег, а сам еще спрашивает:

– Не обидно?.. Не мешай же, Музыка, играй! – и начнет хлюпаться в дегте, как дитя в луже... Что-то как человек в счастье да в радости! Чего-то он не выдумает! Откуда и разум возьмется! Ничего не щадит и ни об чем не жалеет.

А там слышно, ревет медведь и танцует, а цыган выкрикивает:

– А ну, Гаврилка, как пьяные бабы валяются. Цыганка тут же, в куче, ворожит и приговаривает:

⁵⁴ *Серпанка* – изделие из редкой хлопковой ткани. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵⁵ *Заутреня* – утренняя церковная служба. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵⁶ *Поют Лазаря* – выпрашивают милостыню. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵⁷ *Цимбал* – музыкальный инструмент. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵⁸ *Штоф* – единица измерения жидкости, равная 1,23 литра; посуда, вмещающая такой объем. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁵⁹ *Дегтарь* – здесь: торговец дегтем. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Ты счастливый, уродливый, чернявая молодлица за тобою увивается; положи же пяточок на ручку, то я не то скажу тебе.

Цыганчата выпрыгивают из своей *халандры* и кричат не своим голосом, словно чѐрт с них лыка дерет. Старый цыган туда же с своею одранью. Знай клянется женою и детьми, проклинает свою душу, и отца, и мать, а все затем, чтоб старую, слепую, сопатую⁶⁰ и с выбитою ногою кобылу продать вместо молодой, здоровой. Да как нашего брата отступит цыганское наваждение, так не знаешь, что и делать. Как напустят *мару*⁶¹, так и сам видишь, что одран его трёх денежек не стоит, и видишь, молчишь, да среди их стоя, только хлопаешь глазами и не знаешь, как отделаться от проклятых. А они? Тот божится, а другой уже сунет тебе в руки оброта с кобылою, третий вытягивает из твоего кармана платок, в коем гаманец с деньгами увязан, а тот уже сдачу дает... И все разом таскают тебя к выставке магарыч запивать; так что, говорю я, пока схаменешься, смотришь, хотел свое *ледащо* продать, а проклятые цыгане всунули тебе в руку такую патыку, что и щепкой взять гадко; и отдали ее за такую цену, что можно бы при случае и средственн⁶² вола купить. Да еще за мои деньги горелку покупали, сами выпили и потом, вместо благодарности, в глаза посмеялись:

– Кобыла твоя, – так говорят, – немного не довидит, да это ничего: купи ей очки и навесь к глазам, как панычи в городе носят; тогда еще послужит...

Вот такое-то все там было. Всякий же народ, что ни был там, кто только проходил мимо солдатского портрета, всяк снимет шапку, всякий скажет: либо «добры день», либо «здравствуйте, господа служба!» А *служба ни чичирк*, стоит себе исправно, пальцем не кивнет, глазами не поведет и усом не моргнет. И так никто, никто не отгадал, что это намалеванный. Кузьма Трофимович, сидя под навесом, смеялся крепко над всеми, кого так ловко одурил.

Как вот где взялся солдат, да уже настоящий солдат и живѐхонький, вот как мы с вами. Ходит он по базару, подглядывает, подсматривает... И уже один рушничок у зазевавшейся молодички с кучи стянул и в свой карман запаковал, а у чугуевской торговки бумажный платок, так что более рубля стоит, также стянул; отрезал и веночек луку с одного воза и тут же все за полщены продал – и все так хитро-мудро смастерил, что ни один хозяин не заметил. Ходя по базару, пришел туда, где продают груши; видит, что при мешках одни ребятишки, да и те, разинув рты, зевают на медведей, он положил руку на мешок, никто не видит; потянул к себе, никто не видит; хорошенько положил на плечо, никто не видит... Да не оглядываясь, поплелся куда ему надобно было. Как тут схаменулись хозяева тех груш: видят, что москаль без спросу взял полнѐхонький мешок груш и, словно собственное, тащит себе, крикнули на него и пустились за ним вдогонку. Нехитрый же и москаль! Чем бы ему утекать, а он идет себе спокойно, мешок на плече несет и песенку под нос мурлычет... А тут его сзади, за мешок... Цап!

– На что ты груши взял, сякой-такой сын? – спрашивают его все в один голос. Солдат стоит, выпучив глаза, потом схаменулся и спрашивает:

– Нечто это ваши груши-та?

– Уж ничьи же больше, как наши. А он тут как прикрикнет на них:

– Ах, вы хохлы безмозглые!.. (а зараз ругаться; уж с этого тотчас видно москаля). А зачем вы, – говорит, – тогда не сказали, как я брал, что это груши ваши, а я взял.

И начал приставать к ним с пенею.

– Вы, – говорит, – по сторонам зеваете, а я вот нес, нес, да вот как уморился и амуницию⁶³ потер. Вот видишь, весь мундир выпачкал. Давай деньги на вычистку.

⁶⁰ Сопатая – т. е. сопящая. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁶¹ Мара – морока, наваждение. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁶² Средственный – состоятельный, имеющий достаточные средства. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁶³ Амуниция – вещи, составляющие снаряжение солдата. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Наши хозяева стали было отгрызаться.

– Зачем же ты нес наши груши?

– Вот видишь, ты сам говоришь, что груши твои; за что ж я их даром пронес столько? Мундир потер, казенные сапоги топтал. Давай за труд и на вычитку.

Да к этому начал еще браниться жестоко. Наши видят, что москаль не только оправдывается, но еще к ним же пристаёт, хотели было оставить его, так ни откреститься, ни отмолятся от него, знай кричит:

– Давай за труд, я твои груши через столько места перенес!

Стали просить его:

– *Цур тебе*, – говорят, – батичку! Возьми себе и груши с мешком, только, пожалуйста, *цур тебе*, отвяжись от нас, пусти нас.

Так где же; ни приступу! Так за тем и взялся.

– Мне, – кричит, – чужого не надо, груши твои, бери их; а за то, что я перенес их, сюда подай мое, плати за труд.

Что тут было делать? Еще-таки думали как-нибудь вывернуться от него, напугать, сказали, что пойдут в волостное правление жаловаться на него, так москаль не то поет.

– Что мне волостное правление? – кричит. – Вон моя команда! (Показав на солдатский портрет) пойдём к нему.

Наши видят, что дело не шуточное, страшно; солдат солдата защитит; подумали-подумали, почесали затылки, предложили двугривенный... Москаль умилосердился, взял да потребовал за хлопоты кварту водки. Нечего было делать; посмотрели издали на портрет... Беда! От одного ружья забежал бы далеко; купили ему водки и в силу успокоили. Как же после, подойдя ближе, разглядели, да между народом расслушали и отгадали, что это солдат малеванный, так даже ударили себя руками об полы, да – фить, фить! – посвистали и, пришедши к возам, стали толковать и тут догадались, что живой москаль одурил их.

Уже гораздо не рано было утром, как вот девки собрались идти на ярмарку. Они все поджидали, чтоб немного пореже стало народа на базаре; а то в тесноте боялись, что их и не рассмотрят. О, девичья натура! Все бы им выказывать себя.

Нуте. Вот и тянется целая нитка их и, все как на подбор: одна другой чернявее, одна перед другой красивее, разряжены, так что ну! В половине дня солнышко пригрело, так оно и тепло им. Вот они и выхватились без свит, в одних байковых красных юпках (корсетах) – и как мак алеют! Ленты на головах положены по харьковской моде, вперемешку цветов и красиво, так что загляденье. Косы заплетены и переплетены в *дрибушки*, желтыми гвоздиками и зеленым барвинком⁶⁴ изукрашены; у рубашек рукава и в подоле все вышито, да выстрочено разными искусными узорами; у каждой на шее ниток по десяти, когда еще и не больше, *намиста*, даже голову гнет! Золотые дукаты, да серебрянные кресты так и сияют; *плахты картацкие*, *запаски шелковые и колесчастые*, пояса каламайковые, и все как одна, в красных башмачках, да в белых и синих, суконных чулках... За делом же они вышли на ярмарку! А как же? Поглазеть, посмотреть, да чтоб и на них загляделись и, может, какой *парубок* подойдет да побалаendrасит с ними. Одинаков у девушек обычаи, хотя в панстве, хотя в мужичестве.

Ходят они себе на ярмарке, повсюду рассматривают, кое-что промежду себя рассказывают, хохочут, как вот одна... глядь!.. и шепчет подругам:

– Девчатка-голубочки, смотрите, у нас постой, солдаты.

– Бреешь! Где ты их завидела? – спрашивают и разглядывают по сторонам. – Да вот, вот, подле дегтярной лавки стоит с ружьем караульный.

Так и есть. Крикнули все и начали между собою щебетать, смеяться, с места на место переходить, одна другую пихает, будто спотыкаются, а сами знай оглядываются, да как те павы

⁶⁴ *Барвинок* – мелкое кустарное растение с вечнозелеными листьями. (Прим. Л. Г. Фризмана)

выворачиваются, видите, затем, чтоб солдат взглянул бы на них, затрогал бы которую, вот тут бы они начали его расспрашивать: проходом ли или постоем? А тут и сказали бы ему, чтоб с товарищами приходили к ним на вечерницы⁶⁵, потому что им свои парубки пригляделись и наскучила и они же порядочного кого давно не видали.

Вот и вызвалась из них Домаха и говорит:

– А погодите-ка, я пройду мимо его; и уж не я буду, если он меня не затрогает: вот смотрите. Да примечайте, когда нужно будет, откликайтесь ко мне.

Вот и пошла, будто и не она. То сюда то туда оглядывается, то песенку замурлычит, то платочком замашет, то наклонится чулок подвязывать... вот уж и к солдату доходит, и начала будто с кем-то разговаривать:

– Где тут шпалеры⁶⁶, да шумиха продается?.. Когда бы мне кто указал... – и опять попевает в полголоса... О! да и что это за девка была! Она-то не знала, как подвернуться к кому! Она не умела чем затрогать кого! Ну, ну! Живая, проворная, смелая, шутливая; и таки довольно света повидала: два года в Харькове на мойках мыла шерсть, так ее уже нечему учить; все знала.

Когда заметили подруги, что она близ самого солдата, а он ее и не затрагивает, может быть, не видит; вот и крикнули к ней:

– А куда ты, Домаха, пошла?

Она, стоя подле солдата, помахивая платочком, кричит им во весь голос:

– Вот куплю на цветки, когда какой чёрт не помешает. – И взглянула на солдата, а он стоит; не затрагивает ее, да и полно.

«Что за недобрая мати! – думает Домаха. – Уж я и не таких видала, никто не отделялся от меня, а он не смеет, что ли?.. Ворочусь еще».

Воротилась и, проходя близехонько, не глядит на него и... уронила платок. Не из чёрта ли хитрая Домаха!.. Так что ж? Платочек лежит, а солдат и волосом не двинет. Стала наша Домаха, оглядывается и сказала громко:

– Ох, мне лихо! Потеряла платок. Когда б кто поднял, да отдал, то я уже знаю, как отблагодарила б ему.

Солдат не шевелится. Нечего делать Домахе, надобно воротиться... Вот будто и подбегает, а тут выжидает и говорит:

– Вот беда! Лежит мой платок подле самого солдата... Как взять его?.. Я боюсь, чтоб он меня не схватил или чтоб с ружья не застрелил.

Ничто солдата не расшевеливает, стоит как вкопанный... Подошла, наклоняется и не наклоняется, и берет будто и не берет... все думает, что вот подскочит солдат и поиграет с нею. Так видно, не на таковского напала. Так и быть. Наклонилась и, как будто не евши три дня, протягивает руку, а сама глаз не сводит с солдата... присматривается... да как захохочет во весь голос!..

– А что он тебе там сказал? – крикнули разом любопытные подруги, – Домахо, Домахо! Расскажи и нам.

А Домаха за хохотом и слова вымолвить не может... и сколько духу побежала от солдата...

– Что?.. Что такое?.. Что он сказал тебе?.. – обступивши подруги, спрашивают Домаху.

– Эге? Что сказал? – насилу могла выговорить Домаха. – То не живой солдат, а только его *персона* (подобие, портрет).

– Йо (неужели)? – крикнули девчата и подбежали рассматривать... Так и есть, намалеванный. Хохотали, хохотали они над тем портретом, выдумывали многое тут и пошли прочь по ярмарке...

⁶⁵ Посиделки.

⁶⁶ *Шпалеры* – специальный щит или решетка, по которым вьется растение. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Много посмеявшись такому случаю, Кузьма Трофимович подумал, что уже пора снимать своего солдата, уложить на воз и уплетать домой... как вот крик, галас, тупотня⁶⁷, хохотня, песни, сопелка⁶⁸... он и спрятался под свой навес.

То наступало *парубочество*: шевчики⁶⁹, кравчики⁷⁰, сапожники, портные, кузнецы, свитники, гончари, и бурлаки⁷¹ всякого ремесла, хозяйские работники, отцовские сынки собрались погулять на ярмарке. Еще с утра, кто продал свой товар, а кто накупил чего ему нужно было и, запив магарычи, теперь, выбрившись хорошенько, вздели на себя кто новую свиту⁷², кто китайчатую⁷³ юпку (род камзола), кто отцовский, хотя старый, да жупан⁷⁴, подпоясавшись хватски кто каламайковым, а кто суконным поясом, на подбритые под чуб головы надели казацкие шапки из *решетиловских* смушков, кто с красным, зеленым, а кто с синим верхом, в юфтяных⁷⁵ сапогах с подковами, а у иного были и коневьи, да только так вымазаны, что деготь с них так и тек. Диво ли, что такая роскошь у сыновей богатых отцов? Вот они, закрутив усы, идут стеною, с боку на бок переваливаются, руками размахивают, трубки курят и, сколько есть в них голоса, даже кривятся, жмурятся, поют московскую песню «*При долинушке стояла*». А где идут, там люди от них так и расступаются, потому что не попадайся им на дороге никто: торговка ли с своими коробками, москаль с квасом, слепцы ли с поводителем или баба старая, девка ли молодая им навстречу, нет никому разбора, никого не уважают, всякого стеною так и давят, с ног валят, а сами ничего, будто и не замечают, не видят никого и будто не они.

Это они теперь, завидев девок, поспедают за ними, чтобы так стеною их смять; как же они разбегутся, так тут ловят их, чтоб поиграть, *поженихаться*. Известно, молодецкое, парубочское дело. А унять их и не думай никто.

Идя вслед за девками, проходят мимо малеванного солдата, а их путеводитель, Терешко сапожник, снял перед ним шапку и говорит:

– Здравствуйте, господа служба!

Тут как захохочут слышавшие это, как крикнут на него:

– *Тю ты, дурной!* Да то не живой солдат, то намалеванный. Вот оглашенный, не разберет и того.

В продолжении ярмарки многие подходили к портрету и, рассмотрев его, отгадывали, что он намалеванный, оттого так и крикнули все на Терешку.

Напек же пан Терешко раков (крепко покраснел от стыда), когда и сам разглядел и уверился, что точно солдат намалеванный и что весь базар насмеяется над его простотой... Теперь, думает сердечный, не дадут мне отдыха: будут с меня смеяться и через то многое прибавят еще. Что тут делать!.. Стоит печальный и думает. А потом спохватился, захохотал и говорит:

– Будто я и не заметил, что это не живой солдат, а только портрет его. А поклонился затем, чтоб посмеяться маляру. Так ли малюют! О чтоб его мара малевала! Это и слепой разглядит, что это портрет, а не настоящий человек... Разве были тут такие дурни, что считали его за живого?.. Не знаю! Тьфу! Это чёрт знает что надряпано. Смотрите, люди добрые: разве так шьется сапог, как он намалевал? Я сапожник на все село, так я знаю, что голенище вот как

⁶⁷ *Тупотня* — топот. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁶⁸ *Сопелка* — дудка. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁶⁹ *Шевчики* — те, кто шьют. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁷⁰ *Кравчики* — те, кто кроют. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁷¹ *Бурлаки* — крестьяне, идущие на чужбину за заработком. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁷² *Свита* — верхняя одежда. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁷³ *Китайка* — простая бумажная ткань. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁷⁴ *Жупан* — теплая верхняя одежда, тулуп. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁷⁵ *Юфтяной* — сделанный из кожи быка или коровы. (Прим. Л. Г. Фризмана)

выкраивается (и стал пальцем по портрету царапать); вот и в подборах брехня, да и подъем не так... да так и все не так. Цур ему! Пойдем, хлопцы, далее; намалевал же какой-то дурак...

Довольный собою, что покрыл свой стыд, Терешко с товарищами по шли своею дорогою.

Да и закрутил же нос наш Кузьма Трофимович, как будто тертого хрена понюхал! Крепко ему досадно было, что все же люди до единого, кто только был на ярмарке, все до единого не распознавали намалеванного солдата от живого, а тут чёрт знает откуда взялся сапожник, судит, рядит и охулил его искусство. «Это уже будет, – думает себе, – курам на смех. Правда, я о сапогах не очень и заботился; может быть, в них что-нибудь и не так. Я только и старался, чтоб *тваря* (лицо) его, и он весь, равно мундир и ружье, чтоб было как живое, а о сапогах, как о ненужной вещи, вовсе не думал; не полагал я, чтобы кто вздумал присматриваться, что пойдет к делу.

Ну, пусть будет так, как сказал сапожник: перемалюю, чтоб его утешить и чтоб в моей работе не было никакой фальши».

Достал палитру с красками, кисти, вылез из-за портрета, подмалевал, как нацарапал сапожник, спрятался опять под свой навес и говорит себе:

– Пускай подожду, пока краски подсохнут, а тогда и домой. Теперь сапожник не скажет, что сапог не так намалеван.

Как вот... Терешко с своею ватагою, не догнавши девок, воротились, чтоб перенять их, и проходят мимо солдатского портрета. Вот один из парубков, приметив поправку на нем, говорит:

– Смотри, Терешко, маляр тебя послушал: перемалевал сапог, как ты сказал.

– Эге! Еще бы то не послушал? – сказал Терешко, подвинув шапку на голове и взявшись в боки. – *Я во всем силу знаю и тотчас замечу, что не к ладу.*

И чтоб больше похвастать перед окружившим его и слушающим народом, да чтобы больше досадить маляру, он, посвиставши, сказал:

– Вот и этого не вытерплю, скажу; я *должен* также маляру заметить: сапог теперь как сапог, сделал, как я научил; так мундир ни на что не похож. Надобно, чтоб рукава – вот так...

– А-зась!⁷⁶ Не знаешь! – отозвался Кузьма Трофимович из-за портрета. – *Сапожник, суди о сапогах, а о портняжестве разбирать не суйся!*

Как же захохочет весь базар, услышавши, какую правду сапожнику отрезал Кузьма Трофимович! Со всех сторон подняли Терешку на смех!.. Кругом осмеянный Терешко побежал оттуда что было духу и забежал не зная куда. А Кузьма Трофимович моргнул усом, уложил свой портрет, поехал к пану и по уговору денежки и горелку счистил, да и прав.

Ярмарка разошлась. Нескоро показался в люди Терешко и уже полно ему верховодить на улице, на вечерницах или в шинке; полно ему судить и рядить, о чем знает и не знает. Только лишь забудется да забаландрасится о том, о другом, то тут кто-нибудь и скажет:

– Сапожник, суди о сапогах, а о портняжестве разбирать не суйся! – то он тотчас язык и прикусит и уже *ни чичирк*.

Вот и вся! Кажется, эта *побрехенька* была бы пригодна и для всех, берущих на себя судить о том, чего не понимают вовсе. Гм!

Маруся

Посвящается Анне Григорьевне Квитке⁷⁷

⁷⁶ По-русски нет подобно значащего слова.

⁷⁷ Квитка Анна Григорьевна, урожд. Вульф (1800–1852) – жена писателя. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Часто мне приходит на мысль: для чего бы человеку так сильно привязываться к чему-нибудь, не только к вещи, даже и к милым для нас людям: жене, детям, искренним приятелям и другим? Прежде всего подумаем: разве мы на сем свете вечные? И что есть у нас – скотина ли, хлеб на гумне⁷⁸, имущество в сундуках, – разве этому всему так без порчи и быть? Нет, ничто здесь не вечное; да и ты сам что? Сегодня жив, завтра что Бог даст! Ведь живучи с людьми, только и слышишь: там звонят, там плачут, и все по покойнику; там кормят нищих за упокой... Каждый божий день говорят: вот тот-то болен, тот умирает, а тот умер... Ты и не осмотришься, и не опомнишься, как остался сам себе на свете: хотя ты и с людьми, и между людей, да все уже не то! Все они тебе либо не такие приятели, каких похоронил, либо и совсем неизвестны; так оно тебе все равно, что скитаешься в дремучем лесу! Вот начни вспоминать о своих приятелях, так вся твоя песня будет на один лад: вот с тем мы хлопцем были, а он уже умер; с тем в школу вместе ходили, и тот умер; с тем молодецествовали, и тот умер – и этот и тот, и тот и этот, все померли. Когда ж это так, то и помни себе всегда, что не забудут и тебя на этом свете, возьмут, не спрашивая, хочешь ли к прежним товарищам или, может быть, еще бы погулял.

А так думая, для чего бы нам, невечным, привязываться так к временному? Для чего бы не делать так: наградил тебя Бог счастьем, что отец и мать твои живут при тебе и благодарят тебя ласковым словом за то, что ты их при старости и покоишь и уважаешь; или счастлив ты женою доброю, кроткою, попечительною хозяйкою; или детками покорными да послушными, – хвали за все это Бога и утром и вечером, а их почитай, люби, и уважай, и не жалея для них не только никаких трудов, имущества, но, когда нужда велит, душу свою за них положи, всем жертвуй, умри за них... Но все-таки помни, что и они на сем свете такие же гости, как ты и всякой человек, царь ли, пан, архиерей, солдат или пастух. Когда же милосердный наш отец кого-нибудь из нас позовет, провожай с горестию, но без скорби и ропота; перекрестись и скажи, как всякой день в молитве читаешь: «Господи, буди воля Твоя с нами, грешными!» И не вдавайся в сильную печаль, чтобы она тебе не сократила веку, потому что грех смертельный причинять себе не только смерть, но и болезнь, хотя бы и легчайшую; не сберегши тела, можешь погубить и душу на вечные веки! Больше всего помни, что ты хоронишь сегодня, а тебя схоронят завтра и все мы будем вместе у Господа милосердного, в вечной радости, и там не будет уже никакой разлуки и никакого горе, никакая беда там не приключится нам.

Еще же и так мы думаем, что как придется кому из нас по несчастью хоронить кого из своей семьи или родных, так будто это человеку бывает за его грехи и неправды прежние. Нет, не так оно! Вот послушайте, как нам священник в церкви читает, что Господь небесный нам будто отец детям. А после этого не грех нам будет и так уподобить: вот соберутся дети играть на улице, и будут между ними шаловливые, да все б то им вместо игрушек драться да ссориться; а между ними будет дитя смирненькое, тихое, покорное до того, что всяк может его обидеть. Ведь правда, конечно, что отец такого дитяти, чтобы оно не научилось чему худому от своевольных детей, жалея о нем, позовет его от игры к себе; а чтоб оно по товарищам не скучало, посадит подле себя, приголубит, приласкает, и чего оно ни поже лает, все даст ему. Конечно, прочие дети, оставшиеся на улице, не понимая, как хорошо у отца всякому дитяти, будут жалеть о нем; но нужды нет, пусть жалеют, а ему у отца очень, очень хорошо! Вот так и Небесный наш Отец поступает с нами: оберегает нас от всякой беды, и в предохранение от нее, берет нас прямо к себе, где такое добро, такое добро, что ни рассказать, ни даже представить нельзя... Да еще и так подумаем: чувствуешь ты, человеке, что эту беду послал тебе Бог за грехи твои, – так тут же и рассуди: какой отец оставит детей вовсе без всякого наставления, чтобы они совсем развратились? Всякий, всякий отец старается научить детей всему доброму; а непослушных по-отцовски накажет да по-отцовски же и помилует. Недаром сказано: негодное то дитя, которого отец не наказывал! Это люди с своими детьми так поступают. А то Отец

⁷⁸ Гумно — отгороженное место, куда складывают сжатый хлеб. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Небесный, коего милосердию нет меры и пределов! Когда он и пошлет за грехи наши какую беду, то он же и помилует! Только покоряйся ему! После сего не будем же скорбеть, что нам Бог милосердный ни пошлет терпеть и, перекрестившись, при беде скажем: «Господи! Научи меня, грешного, как исполнять волю Твою святую!» Тогда увидим, что нам будет все легко переносить и во всем будет покойно.

Та к поступал Наум Дрот.

Вот его постигла злая беда. Что же он? Ничего. Хвалил Бога и прожил век, не вдавшись в отчаяние; а грамотный не выдержал...

Вот как это было.

Наум Дрот во всем селе, где жил, был лучший парень. Отцу и матери послушен, к старшим себя почтителен, с ровными дружен, ни полслова никогда не сказал несправедливого, горелки не напивался и пьяниц не терпел, с бездельниками не знал; к церкви же, так хоть будь и не великий праздник, лишь только услышит колокол, он уже и там, свечу выменил, нищим денег подает и принимается за свое дело. Когда прослышит о ком бедном, наделит по своей силе или добрый совет даст. За его правду не оставил же его Бог милосердный. Что бы ни задумал, все ему Господь и посылал: наградил его женою доброю, трудолюбивою, хозяйкою, скромною; и чего было Наум ни пожелает, что ни задумает, Настя (так ее звали) ночи не спит, везде старается, хлопочет, промышляет, достает и всего сделает и всего достанет, чего мужу хотелось. Уважал же и он ее, сколько мог, и любил, как свою душу. Не было между ними не только драки, как водится в их быту, но даже ни малейшей ссоры. Ежедневно славил Бога за его милости.

Об одном только они тужили: не посылал им Бог детей. Так что же? Настя как вздумает про это, так тотчас в слезы и плачет; а Наум перекрестится, прочитает «Отче наш», станет ему на сердце веселее, и пошел за своим делом: или в поле, или на гумно, к скотине, к батракам, потому что был достаточен: было волов пар пятнадцать, была и лошадь, были и батраки; было чем барщину отбывать и в дорогу фуру посылать; было и поле, доставшееся еще от деда, а то и он еще прикупил; так было ему над чем управлять.

Вот потому-то Настя, глядя на свое имущество, и тужила, что кому-то оно, говорит, достанется? Не будет нам ни славы, ни памяти, кто нас похоронит, кто нас помянет? Что мы собрали, растратят, а нам и спасибо не скажут. А Наум ей, бывало, и говорит:

– Человеку должно трудиться по самую смерть. Даст Бог детей – детям останется, а не даст – его воля святая! Он знает, для чего что делается. Ничто не наше, все Божье. Достанется наше имущество доброму, он за нас и на часточку в церковь подаст, за упокой помянет и нищим что раздаст. А когда унаследует недобрый, ему грех будет, а нас все-таки милосердный Бог помянет, сколько мы, здесь живя, заслужим. Не тужи, Настя, об имуществе: оно наше, а не мы его. Берегись, чтобы оно не пресекло тебе пути к Царству Небесному. Сатана знает, чем смутить; молись Богу, читай: избави нас от лукавого – то и все хорошо будет.

Как вот, родительскими об них молитвами, дал им Бог и дочечку. Да и рады же были оба, и Наум и Настя! Таки с рук ее не спускали. Когда же было дитя куда побежит, к соседям или на улицу, то уже кто-нибудь из них, отец или мать, так следом за нею и идет. Да и что-то за дитя было! Еще маленькая была, а умела и «Отче наш», и «Богородицу», и «Святый Боже», и половину «Верую». А только было что услышит колокол, то уже не зарезвится, не засидится дома, а тотчас говорит:

– Мама! Пойду к церкви, слышишь, звонят, грех не идти. Тату⁷⁹! Дайте грошик на свечечку, а другой старцу божьему подать.

И в церкви уже не зашалит, ни с кем не заговорит, а все молится и поклоны кладет.

⁷⁹ *Тату* — принятое на Украине обращение к отцу. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Вот и выросла им на утеху. Да что же за девка была! Высокая, пряменькая, как стрелочка, черноволосая, глазки, как терновые ягодки, черные брови, как на шнурочку, личиком румяная, как роза, что в панских садах цветет, носик себе пряменький с небольшим горбиком, а губки, как цветочки расцветают, и между ними зубки, точно как жерновки, как одна, на ниточке снизаны; когда было заговорит, то так пристойно, разумно, как будто флейточка заиграет нежно, что только бы ее и слушал; а как улыбнется, да поведет глазками, а сама покраснеет, так вот точно, как будто шелковым платком оботрет запекшиеся уста. Косы у нее, как смоль черные, да длинные, даже за колено; в праздник, или хоть и в воскресенье, так мило их уберет самыми дробными косичками, сама переплетет, да сверх лент на голове положит их венком, да уберет цветами и концы у лент длинно распустит. Всю грудь так и унижет настоящим наместом, перенизанным червонцами, так что ниток двадцать будет, коли еще не больше; а на шее... да и шея же беленькая, беленькая, вот как будто из мелу выстругана. Поверх такой-то шеи, на черной бархатке, широкой, так что будет пальца в два, золотой дукат с кольцом, и в нем вправлен красной камушек, так-так и сияет! Да как вырядится в байковый красный корсет, застегнется под самую душу, чтоб ничего не было видно, что непристойно... уже не так же, как городские девки, что переняли у паней. Цур им! Согрешишь только, глядя на таких.

Не так было у нашей Маруси, Наумовой да Настинной дочери, вот про которую я рассказываю. А ее, знаете, звали Марусею. Что было, то и было; так Бог дал. Рубашка на ней всегда беленькая, тоненькая, сама пряла и пышные рукава сама вышивала красными нитками. Плахта (род юбки) на ней картатская, полосатая, еще материнская приданая, теперь уже таких и не делают; и каких-то цветов на ней не было, батенька мой, да и полно! Запаска (передник) шелковая, моревая; каламенковый⁸⁰ пояс; да как подпояшется, так так рукою и охватишь, еще же то не очень и стянется. Платочек у пояса выстрочен и с вышитыми орлами; подол из-под плахты тоже выстрочен и с кисточками; чулочки синие, суконные и красные башмачки. Вот такая, как выйдет, так что твоя панночка! Идет, как пава, не очень-то по сторонам разглядывает, а только смотрит под ноги. Когда повстречается с кем старше себя, тотчас низко поклонится, да и скажет: «Здравствуй, дядюшка!» или «Здоровы, титусю⁸¹!» И таки, хотя бы то малое дитя было, уже не пройдет просто, всякому поклонится и ласково заговорит. А чтоб какой парубок да посмел бы ее затрогать? Ну, ну! Не знаю! Она не станет бранить и слова не скажет, а только посмотрит на него так пристально, с сожалением и с каким-то гневом, – кто ее знает, как она там взглянет, – то хоть бы какой был, так тотчас с головы шапку схватит, поклонится учтиво, ни слова с уст не выпустит и отойдет далее. О! На все село была и красивая, и разумная, и богатая, и учтивая, да еще к тому же тихая и скромная и ко всякому почтительна.

Вечером на улице и не говори, чтобы когда с подругами вышла. Мать было станет ей говорить:

– Пошла бы ты, дочка, на улицу, видишь, теперь весна, она раз красна! Поиграла б с подруженьками у хрещика (в горелки), песенок бы попела.

Так где уж!

– Лучше я, – говорит, – на то место, управившись, да лягу спать, и за то раньше встану; заменю твою старость, обедать наварю и батьке в поле отнесу. А на улице что я забыла? Игры да шалости. А там смотри, случится, хотя и не со мною, хотя и с кем-нибудь какая причина, да после и страшно отвечать за то одно, что и я там была. Нехай им выяснится, не пойду!

А про вечерницы так и не вспоминай! Было и других девок отводит, да даже плачет, да просит:

– Будьте, ласкавы, сестрички, голубочки! Не ходите на это проклятое сборище! Да там нет никакого добра, там все злое, лихое! Собираются будто прясть, да вместо того шалят,

⁸⁰ *Каламайковая* (каламенковая) – сделанная из каламенка – пеньковой или льняной ткани. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁸¹ *Титусю* — нежное обращение к тете на Украине (тетенька, тетушка). (Прим. Л. Г. Фризмана)

играют, да выучиваются горелку пить, от матерей кур крадут, да туда и приносят; да еще такое там делается, что стыдно и подумать. Мало ли же своей славы потеряли, ходя в это нечистое место. Вот хотя бы и Явдоха, и Кулина, и Приська. Ведь же и священник не велит и говорит, что грех смертельный туда ходить. Да смотрите же на меня: вот я дома напряду больше всех вас, чем вы, ходя на вечерницы пряхь.

Вот так было говорит, говорит, то и смотри: одна послушает ее, перестанет ходить; далее другая, третья... а потом и совсем перестанет мода туда ходить. То и благодарят Марусю добрые люди, а наибольше матери. А там после нечистый таки опять силу возьмет; взманит опять ходить и потянет целую вереницу к гибели.

Только было наша Маруся когда-то да когда соберется к подруженьке на свадьбу в дружки. Да и то не будет она в субботу бегать с ними по улице да горло драть, словно бешеная, как прочие делают. Придет уже в воскресенье, посидит, пообедает; а как выведут на двор молодых танцевать, она тут побудет или не побудет, скорее домой. Разделась, давай печь топить, ужин готовить, и уже мать за нею было никогда не успеет.

Вот раз, на Зеленой неделе⁸², была Маруся у своей подруги в дружках на свадьбе и сидела за столом. Против дружек, как обыкновенно, сидели бояре⁸³. Старшим боярином был парень из города, портной Василь, хлопец славный, белокурый, чисто подбритый, чуб опрятный, усы казацкие, глаза веселые, как звездочки, лицом румяный, проворный, живой, учтивый; жупан на нем синий и китайчатый чекмень⁸⁴; поясом из английской каламенки подпоясан; в тяжинных шароварах; сапоги славные с подковами. Как пришивали боярам к шапкам цветы, то все прочие клали по грошу, кто-кто два, да и лакей с господского двора, и тот пять грошей на удивление всем положил. А Василь все выжидал, да все в кармане что-то доставал, а после, вытянув мешочек, а там-таки кое-что звенело, всунул пальцы, достал, да и положил на выкуп шапки за цветок... целехонький гривенник! Как выкинул его, так все, кто ни был на свадьбе, все так и удивились, а дружки даже и петь перестали. А он себе и нужды нет; встряхнул голову, поправляя волосы, да за ложку и стал доедать лапшу, как будто только копейку дал.

Вот, сидя за столом, как уже обед приняли, давай тогда Василь рассматривать девок, что были в дружках... Глядь!.. И увидел Марусю. А она уже третьею сидела, потому что старшую дружку, сколько было ее ни просят, никогда не сядет.

– Пусть, – говорит, – другие садятся, кто за этим гоняется, а мне и здесь хорошо.

Стал наш Василь и сам не свой и, как там говорят, как обваренный. То был веселый, шутливый на выдумки, на прибаутки прежде всех; только его и слышно, от него вся хохотня. Теперь же тебе хотя бы полслова проговорил. Голову понурил, руки опустил под стол и ни до кого ни полсловом; все только взглянет на Марусю, тяжко вздохнет и опустит глаза вниз.

Сняли миски с обедом и поставили на стол орехи. Дружки тотчас начали с боярами загадывать на чет и нечет⁸⁵, лепечут, хохочут, балагурят кое-что промежду свадебных песен, а наш Василь сидит, точно как будто в лесу один себе; ни с кем не говорит и никуда не глядит, только на Марусю; только она ему и видится, только об ней и думает; как будто весь свет пропал, а только он с Марусей остался. Ни до чего и ни до кого нет ему никакого дела!

Что ж Маруся? И она, сердечная, что-то изменилась: то была, как и всегда, тиха, а тут уже вовсе, хоть домой идти. Что-то ей стало и скучно и грустно, и как взглянет на Василя, так ей так его жаль станет, а чего? И сама не знает. Разве, может, того, что и он сидит такой неве-

⁸² *Зеленая неделя* — церковный праздник Вознесения. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁸³ Дружками называются девушки, приглашенные невестой быть на свадьбе, и, сидя за столом, петь положенные песни. Накануне свадьбы невеста к каждой дружке идет сама в сопровождении прежде приглашенных; идучи по улице, они во весь голос поют приличные песни. Бояре же — холостые парни, препровождающие жениха к невесте в день свадьбы. Перевод. (Прим. автора.)

⁸⁴ *Чекмень* — верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁸⁵ *Чет и нечет* — игра, состоящая в угадывании четного или нечетного количества предметов. (Прим. Л. Г. Фризмана)

селей. А еще пуще, как один на одного разом взглянут, Марусю, как лихорадка из-за спины, так и морозит... И все бы она плакала. А Василь как будто в самой душной хате, как будто кто его тремя тулупами покрыл и горячим сбитнем⁸⁶ поил. Вот они скорей один от другого отворотятся, и кажется, что и не смотрят; но вот Василь только рукою поведет или голову куда повернет, то уже Маруся и покраснела, и опять взглянутся между собою.

Думает сердечная Маруся, что, может быть, это ее сглазили, да и говорит себе:

«Пойду-ка я скорее домой».

Так опять мысль придет:

«А тот боярин, что в синем жупане, он нездоров, что ли? То как я пойду, чтоб он больше не заболел, и никто ему не поможет. Видишь, как жалко смотрит на меня и как будто просит: будь ласкова, Маруся! Не уходи отсюда! Ну, хорошо, хорошо, останусь».

А Василь себе мятется и не знает, что ему делать. Расслушал немного, что бояре начали с дружками гадать орехами, да и думает: «Дай-ка погадаюсь я вон с тою девкою, что сидит смутная и невеселая». Только что сердечный протянул руку, то как будто ему кто шепнул: «Не трогай ее, она рассердится; видишь, как она богато одета, да пышная, это, может быть, мещанка, она с тобою и говорить не захочет».

Побледнеет наш Василь, да опять и нахмурится. Далее, собирался, собирался, да как дружечки стали громче петь, а хозяйева чаще стали горелочкою гостей потчивать и усилился говор в хате, он таки схватил в горсть орехов да к Марусе:

– Чет или нечет?

Да как проговорил это, так даже чуть не упал со скамейки... Голова у него закружилась, в глазах потемнело, и вовсе не опомнился.

Да и Марусе же хорошо было. Как заговорил к ней Василь, она так испугалась, как тогда, когда мать на нее рассердилась. А это только одним-одним раз и было на ее веку, как, принесши она с реки белье, потеряла материн платок, что еще от ее покойной матери; так за то-то на нее мать сердилась было, и хотя недолго, но Маруся – сохрани бог – как было испугалась. Вот же и теперь так было ей пришло: как бы можно, сквозь землю провалилась бы, либо забежала бы куда-нибудь, чтоб и не смотреть на этого боярина! Да и что ему говорить? Как скажу «нечет», то он подумает, что я чванная и что не хочу с ним загадывать; а он и так или смутен, или сердит – жалко на него смотреть. Скажу «чет». Что ж? Как начала силиться, чтоб проговорить слово, так никаким способом не может сказать. Губы слиплись, язык точно деревянный, а дух так и захватило. Видит же, что и Василь с нее глаз не спустит, и орехи в горсти держит, и ждет, что она ему скажет. Вот ей стало его жаль. На великую силу, да тихонько, так, что никто и не слышал, проговорила: «чет» да и оглянулась с ним... И сама уже не помнит, как взяла от Василя орехи... Да как спохватилась, как застыдилась!.. Сохрани, Мати Божия!.. Как вот, на счастье их, вскрикнул дружок⁸⁷:

– Старосты, паны, подстаросты! Благословите молодых вывести из хаты на дворе погулять.

Тут и все бросились из-за стола, да кто куда попал, скорей на двор, смотреть, как будут танцевать. Вот и Марусе и Василю как будто свет поднялся, легче стало им на душе, вышли и они из хаты.

Тр оистая музыка гремит из всей мочи: две скрипки рыпят⁸⁸, цимбалы бренчат, а вместо баса сам скрипник сквозь зубы гудет и прицмокивает. Вот и расшевелились наши девчата: вышла пара, а там другая и пошли танцевать дрибушки. Ножками стучат, подковками гремят,

⁸⁶ *Сбитень* — горячий напиток из меда и пряностей. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁸⁷ Дружок, главный распорядитель на свадьбе. Без него ничто не делается, и он на всякое свое действие испрашивает благословения двух старост. Перевод. (Прим. автора.)

⁸⁸ *Рытеть* – скрипеть. (Прим. Л. Г. Фризмана)

взявшись за рученьки, выворачиваются, то опять разойдутся, то, как уточки, плавно плывут, только головками поводят, то опять приударят дрибушки... Уже и устали, уж и платочками утираются, уж бы им и полно, уж и другим хочется танцевать... Так что ж? Музыка играет да играет. Уж одна из девок, Одарка Макотрусивна, едва ноги передвигает, пот с нее так и течет, беспрестанно просит музыкантов:

– Да полно, дядюшка!.. Да перестаньте!.. Вот уже совсем не могу!

Так что ж? Музыка играет да играет!.. Но вот скрипник кончил, и в конце на струне запищал знак, чтоб поднесли им водки... Вот девкам и полно; поклонились музыкантам и пошли в кучу⁸⁹.

– А ну, горлицы⁹⁰! – закричал из кучи Денис Деканенко. – Кулаками растолкал людей, из кучи потянул к себе Пазьку Левусивну, стал с нею и дожидается, пока попотчуют музыкантов. Расставил ноги, взялся в боки, шапка на нем высокая, серых овчин с красным суконным верхом, надетая набекрень; усами махает и, поглядывая на всех, приговаривает: «Вот же вызвался я танцевать, да, может, и не умею, поучиться было у хромого Фомы, что на деревянке⁹¹ ходит». Как это слышали люди, так и захохотали. Козьма, вот таки знаете, старый Коровай, тот и говорит: «Вот так, вот этот научит хорошо, сам ходя на одной ноге». А Ефим Перепелица смеялся-смеялся... даже слезы потекли, да и говорит: «Вот этот не выдумает! Ну уж так!» А Денис стоит, будто и не он, и не усмехнется.

Напившись горелки, музыканты начали отхватывать горлицу. Как же расходился наш Денис, так что, батюшки! Там его нечистый знает, как-то он премудро тогда танцевал. Как же хватил впрысядку, так ногами до земли и не дотрагивается: то поползет на коленках, то через голову перекувырнется, вскочит, в ладошки плеснет, свистнет так, что в ушах затрещит... да опять в боки, да в скоки, да тропака-тропака... Так, что земля гудет; а там станет выкидывать ногами, как будто они выломлены; а там подпрыгнет, да опять впрысядку, да около Пазьки так кругом и вьется, да под музыку приговаривает:

– Ой, дивчина горлица, до козака горнетца; а козак, як орел, як побачив, та и вмер.

Хорошо было Денису так выфантывать без Василя. А тот бы заткнул его за пояс хоть в танцах, хоть так в речах или в молодечестве, потому что он был на это лихой парень. Когда было возьмется за танцы, так и не говори, что полно: хоть какую музыку перетанцует; когда ж подвернется к девкам, то уж они ни на кого больше и не смотрят, только на него, и слушают его одного, а на прочих плюют. Когда ж подсядет к старым, да станет отпускать им свои балянд-расы⁹², так все, и старые и молодые, сидят да, разинувши рты, слушают, хоть до поздней ночи.

Такой-то был наш Василь до сего часу. Теперь же словно осужденный. Вышедши из хаты, вместо того, чтоб идти за всеми, да взявши девку, туда бы и себе пуститься в танцы, нет, – пошел себе, сердечный, прочь от людей, наклонился на плетень, да и думает:

«Что это со мною сделалось? Таки ничего не слышу и ничего не вижу, кроме этой чернявой дивчины! Она у меня и перед глазами, и на мыслях!..

Что же не затрогаю ее?.. Ну да!.. Кажется, как будто и не смею или боюсь, чтоб не рассердилась. А как вздумаю, что она на меня может рассердиться, и когда пойду к ней, то она отворотится и прогонит от себя, – то от такой мысли и свет мне не мил, и сам не знаю, что делать с собою! Пошел бы и домой, так вот тут будто прикован. Грустно мне смотреть на эту свадьбу, а не могу отвести глаз от той хаты, что вон на завалине сидит моя дивчина, да что-то с подругой разговаривает. Да или мне так кажется, или так в самом деле, что они на меня поглядывают; может быть, про меня...»

⁸⁹ Танцующие парни или девка, пока играет музыка, никак не могут перестать танцевать, хотя бы из сил выбились. Перевод. (Прим. автора.)

⁹⁰ Горлица – птица из породы голубей. То же, что голубка – нежное обращение к женщине. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁹¹ На деревянке – на деревянной ноге. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁹² Отпускать балянд-расы – говорить пустяки, балагурить. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Чего тут так грустишь, Семенович? – сказал ему Левко Цемкал, подстарший боярин, да и ударил его по плечу. – На девок загляделся, что ли? На-ка, покури трубки, то и будешь веселее, да и пойдем танцевать. Видишь, какие бойкие девчата из города пришли.

– Не хочу трубки, – говорит Василь, – чуть ли не от нее мне и стало дурно и так что-то нездорово; либо вот это домой уходить, или что; оканчивай тут за меня порядок.

– Цур ему! – говорит Левко, – еще погуляем. Может, нет ли чего тебе с глаз? Так пройдишь по улице, то оно и пройдет. Или, всего лучше, иди и посмотри, как девчата танцуют. Ну, что уж Кубракивна отодрала, так уж за всех. Что за танцюра! Да и девка, брат, важная! Когда б до осени не ушла, то не минует моих рук.

Как лихорадка встрепенула Василя. Побледнел как белое полотно, да даже руками схватился за плетень, чтоб не упасть от беды. Он подумал, что это его девку Левко выхваляет. Известно, что когда кого кто любит, так и думает, что она и всем так хороша и прелестною кажется, как и ему. Отуманев немного, после спохватился и поднялся на хитрости, и давай выпытывать Левка:

– Какая Кубракивна, – говорит, – не та ли черноволосая, что вся шея унижена наместом с крестами (тобто Маруся)?

– Нет, – говорит Левко, – нам до той далеко. Моя, вон видишь, русая, да немного курносенька, в свите, да рушником подпоясана.

Легче стало на душе нашему Василию, даже вздохнул, и глаза, как звезды, заблестали, как услышал, что не его девку Левко любит. Теперь ему не нужна и Кубракивна, и здесь ли она или где; теперь давай скорей доспрашивать про свою, да и говорит Левку:

– А то про какую ты говоришь, что до нее тебе дела нет? Разве тут есть поповна или приказчиця дочь?

– Нет, – говорит Левко, – тут все наша ровня; а я говорю про нашу Марусю...

– А что ж то за Маруся? – спросил его Василь, да и глаза потупил в землю, будто ему и нужды мало; а у самого не только что уши – да что! – всякая жилочка как будто слушает; а сам, сердечный, и дух притаил, и боится, чтоб ни одного словечка не прослушать, что ему Левко будет рассказывать.

Вот и начал ему Левко про Марусю рассказывать все, что знал: и чья она дочь, и какой ее отец богатый, и как он свою дочку лелеет. А потом и про Марусину натуру: как она ото всех удаляется, что никто же ее не видел не только, чтоб на вечерницах или в колядке⁹³, да и на улицу, и на Купала⁹⁴, да и ни на какие игры не ходит; или уже она такая пышная, или, может, несмелая. А уж работать! И на отца, и на мать, и на себя прядет, шьет, моет, и сама все одна, без работницы, и варит, и печет. А мать сидит, ручки сложивши.

Не пошла же и Маруся к танцам, а села себе, скучаячи, на завалине, подле хаты, да те орешки, что взяла у Василя, все в горсти перебирает, да глазком посматривает за Василем. Что же у нее на мысли, того и сама не поймет. То вдруг станет ей весело, так что тотчас бежала бы к матери, да приголубилась бы к ней; то опять загрустит и слезы платочком оботрет и желает видеть отца, чтоб развел ее тугу⁹⁵; то улыбнется, то покраснеет, и думает, чтобы то домой идти (так прежде всегда было делала: посидит или не посидит на свадьбе с друзьями, да скорее и домой), да как рассмотрит, что надо подле Василя идти, то и передумает. А этого она и сама не знала, что у нее мысль была: когда б вот тот парубок пришел, да поговорил бы со мною, то как будто бы мне на душе легче стало. Как же только подумала об этом, как застыдится! Покраснела, как калина, закрылась ручками и головку повесила.

Вот и пришла к ней Олена Кубракивна, оттанцевавши, да и села подле нее отдыхать.

⁹³ Колядка – обрядовая рождественская песня. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁹⁴ На Купала – на день Ивана Купала (24 июня). (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁹⁵ Туга – забота (произв. от тужить). (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Чего ты, Маруся, так сидишь? Плачешь, что ли?

– Нет, не плачу, – говорит Маруся.

А сказавши, и смешалась до того, что не знает, что ей и говорить.

– Вот это ем, – говорит, – моченые яблоки, да поперхнулась было. А ты чего так задыхалась?

– Да затанцевалась себе на беду! – говорит Олена. – Как попал мне вон тот боярин, так все вертел, вертел, поворачивал меня, поворачивал. А тут еще на беду музыка не перестает, так не только что ноги, да и руки болят, и голова кружится. Да уж и танцюра! У нас такого во всей слободе нет. Я говорила своим хлопцам, чтоб приводили его к нам на улицу.

Вот Маруся немного и обрадовалась, что, может, Олена знает того парубка, что ей так в душу запал, потому что и она на свой пай думала, что уже лучше ее парубка нет на свете и что это она его так выхваляет. Вот и давай про него выведывать:

– А какой же боярин, не старший ли?

– И, уж старший! – забормотала Олена. – Сидит себе, понурившись, да ни на кого и не смотрит и ни одной девки не затрогает. Пускай-ка сядут за стол; уж не я буду, чтоб не запела ему:

Старший боярин, как болван,
Вытаращил очи, как баран.
Обручами голова обита,
Мочалою свита сшита,
Лыком⁹⁶ подперезался
И в бояре прибрался, —

вот как ему запой. Пусть знает и наших девчат. Он, может, думает, что деревенские не умеют танцевать? Ну, ну! Еще его батьку научим!

– А может, он не умеет? – спросила Маруся, а сама закрывалась рукою, чтоб не видела Олена, как она при этом стыдится.

– Кто? Василь не умеет? – даже вскрикнула Олена.

– Да я и не знаю, Василь ли он, или кто он, и умеет ли танцевать или не умеет, я не знаю... Да и его совсем не знаю.

Сказавши это, Маруся спохватилась, чтоб не замолчала Олена про него рассказывать; а ей крепко хотелось знать, кто он и откуда. И только что хотела расспрашивать, как тут Олена опять со своим боярином; опять начала жаловаться, как он ей руки повыворачивал, как ее утомил, и се и то, и долго все про него говорила.

Долго слушала Маруся и не знала, как остановить Олену, а та радехонька была, хотя бы до вечера молоть про своего боярина. Далее, будто не расслушала, про кого она рассказывает, да и говорит:

– Запой же ему славно, да славно!

– Да это не ему, разве ты не слышишь? – крикнула на неё Олена. – Это я Василию хочу запеть.

– Да что там за Василь тебе так дался? – говорит Маруся. – Вот не видала твоего Василия. И откуда он тут взялся и из какой слободы забрел сюда?

Это у девок уже такая натура, что которая какого парубка полюбит, то нарочно станет его осуждать, чтоб другие хвалили.

⁹⁶ Лыко – подкорье молодой липы, делится на мочала, используется для подпояски. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Да, думаю, что из слободы. Он из города, он свитник, шьет свиты, когда слышала. Да что и завзятый⁹⁷! Уж где появится, то все девки около него. И танцевать, и резвиться; уж не взял его бес. Да и красив же! Видишь, как выхилиется! Спина так и гнется, точно как молодой яшень; а лицом, как намалеванный; глаза, как звездочки, кудри так и болтаются, видишь, по-купечески...

– Верно ты его любишь, так затем и хвалишь, – едва проговорила Маруся, закрываясь рукавом. А сама, как на огне горела от Олениных рассказов.

– Так что ж что люблю! Пожалуй бы, любила, так он на таких и не посмотрит. Говорит, что его хозяин хочет его принять вместо сына; а дочь красивая, да красивая и очень богата. Он и сам имеет копейку: ведь же ты видела, что и за шапку выкинул даже гривенник. Вот так и везде он делает. Уж как бы не было...

Тут подбежал Денис, да и потащил Олену за рукав к танцам. Уж она его и ругала, и кулаками в спину дубасила, так ничего и не сделала: потащил, да и потащил. А ей крепко хотелось с Марусею посидеть да про парубков наговориться.

Осталася Маруся одна. Задумалась; а как вспомнила, что Олена говорила, что его хозяин берет его вместо сына и что отдает за него свою дочку, и красивую, и богатую, так и затужила. Склонила головку на белую ручку, а слезки с глазок так и каплют! Вот обтерла их платочком, закрылась ручкою, да и думает:

«Ох, лихо мне тяжкое! Лучше б я его не видела!.. Как-то мне его забывать?.. То ли дело городские девки: у них и парубки свои, не такие, как у нас, что не на что и смотреть... Пойду скорее домой (а сама ни с места); стану прибирать, работать, то, может, и забуду!.. Так-то и забуду! Ох, доленька моя лихая!.. Теперь этих орешков нигде не дену, так при себе и буду носить, ни для чего больше, как только на память. Хотя бы на смех они мне сказали. (Да это думая, потрясла в горсти орехи, да громко и проговорила): Любит ли он меня? Чет или нечет?..»

– Чет! И любит тебя от чистого сердца! – отозвался Василь, давно стоявший подле нее и смотревший на ее грусть, да не знавший, как ее затрогать.

– Ох, мне лишенько! – вскрикнула Маруся и встрепенулася, как та рыбка, попавши в сети. – Кто такой? Про кого вы говорите? – спрашивает и не знает сама, для чего и об чем.

– Тот тебя любит... про кого... ты думала!.. – говорил Василь, задыхаясь от несмелости и боязни, как услышал, что она имеет кого-то на мысли.

– Да я... ни про кого... не думала... а так... – сказала бедная девка, да и испугалась греха, сказавши в первый раз неправду. А потом и говорит:

– Кто б то и меня полюбил!..

– Маруся, Маруся! – сказал Василь, тяжело, от сердца вздохнувши, да и – опять насилиу дух перевел – говорит:

– Я знаю такого!..

– Маруся! Маруся! А иди-ка сюда! – так кликнула ее та же Олена. Маруся ни жива ни мертва! Испугалась того, что Василь стал с нею говорить, да еще так громко, а тут еще и то, что Олена видит, что она с чужим парубком разговаривает, а после будет ей смеяться; а что наибольшее ей было страшно и жалко и как будто досадно, что Василь про кого-то другого говорит, что любит ее; а ей бы хотелось, чтоб он сказал, что он сам ее любит. Вот как испугалась, вскочила с места, да и не может ступить. А Олена знай ее кличет:

– Да иди сюда, вот где я.

А Василь тоже стал как вкопанный и не знает, что больше говорить. На мысли и много бы то кое-чего, так язык не повинуется, не может его пошевелить; а тут еще на беду подслушал, что Маруся об ком-то уже думает и что ему нечего тут надеяться; а тут еще и Олена сбила

⁹⁷ Завзятый – увлеченный чем-либо. (Прим. Л. Г. Фризмана)

его с толку... Вот и стоят они обое, сердечные, и не знают, как выпутаться, и идти ли им куда или что делать?

Уже сама Олена пришла к Марусе и спрашивает: долго ли она тут пробудет?

– Нет, – говорит Маруся, – уж мне пора домой. Нечего больше тут дожидать. – И говоря это, так тяжело вздохнула, что сохрани Мати Божия!

– И я вот это иду домой, – сказала Олена. – Мать прислала за мной. Знаешь ли, что? Пойдем завтра вместе на рынок, кое-что покупать. Поди со мною, ты таки все лучше знаешь.

– Хорошо, пойдем. Моя матуся что-то нездорова, так что нам нужно, я и куплю. Зайди только за мною, – сказала ей Маруся.

– Зайду, зайду, жди меня до восхода солнца. Пойдем же теперь вместе домой, да у торговли купим моченых яблок.

Вот подружки, взявшись за руки, и пошли себе.

Остался Василь и стоит сам не свой. По его мыслям, он, кажется, довольно Марусе дал знать, что это он ее любит. Вот и думает: когда б она не имела кого на примете и его бы хотя немного любила, то больше того ему ничего и не нужно было бы: не хотел бы ни денег, ни панства; как же покраснела, как я ей стал намекать, что ее полюбил, и глазки опустила в землю, а ручками все вертела платочек – уж это верно с сердцов; а как пошла за Оленою, то не только ему ни словечка не сказала, да и не взглянула на него.

Горюя, пошел он издали следом за Марусею и видел, что она пока не вошла в другую улицу, то даже три раза оглядывалась. А для чего? Кто ее знает! Девичью натуру трудно разгадать; потому, что они часто будто бы то и не любят того, кто их затрагивает, и будто бы то и сердятся; а там себе, наедине, тихонько, так его любят, что и сказать не можно! Да-таки и той правды скрыть нельзя, что иная девочка, еще и молоденькая, что еще отроду в первый раз видит парубка, который ей пришелся по сердцу, что и сама себя не разгадает, что с нею делается; на уме, так бы все на него смотрела и с ним с одним только и говорила, и села бы подле него, так чего-то ей все стыдно; хоть и ни души нет близко, а ей кажется, будто все люди так уже на нее и смотрят и по глазам примечают, что она с парубком говорила. Вот оттого-то такая и удаляется, и уходит, не сказавши парубку ни слова; как же отбежит от него, так и сама жалеет, да ба! уж невозможно дела поправить! Хорошо же, когда парубок не рассердится, да еще будет продолжать куры строить, так еще не совсем беда; а как же подумает:

«Лихо ей, как пышная! Цур ей!» – да и подвернется к другой, так тогда уже совсем беда! И грустит, сердечная, и тихонько поплачет, да вовсе нечем переменить! Самой же его не затрагивать, чтоб не сказал; вот, говорит, сама на него вешается.

И Маруся наша в большом горе пришла домой, да только не об этом. Она думала, что Василь ее не любит, а если бы любил, то тут бы прямо и ска зал ей; а то про кого-то другого говорил, а о себе ни полслова. Да и Олена же говорила, что хозяин принимает его вместо сына. Так это уж верно, что он любит хозяйскую дочку, да как ее и не любить? Она себе горожанка, мещанка, да, говорят, хороша, да и хороша! А, думаю, как вырядится, так наместа еще больше, чем у меня; а сундук с добром мал? Да еще, я думаю, и не один; там, может, такие большие, да размалеванные, да на колесах, а перин и подушек? Так, может, под самый потолок!.. Так куда уж ему до меня! Он на таких и не посмотрит!.. Вот так думала Маруся, пришедши домой и севши в хате на лавке.

Смотрела старая Настя, мать ее, лежа и стонавши от болезни, что дочь ее сидит смутная и невеселая, и ничего про свадьбу не рассказывает, и за дело не принимается. Смотрела долго, а после стала спрашивать:

– Чего ты, доню⁹⁸, такая невесёлая, как в воду опущена? Не занемогла ли ты, боже сохрани? Смотри-ка, как еще и ты сляжешь, что тогда отец с нами будет делать? Говори же, что у тебя болит?

– Ничего, мамо! – отвечает Маруся.

– Не порвала ли ты наместа, резвяся на свадьбе?

– Нет, мамо!

– Разве не обидел ли тебя кто? Так скажи отцу, он тотчас вступится.

– Нет, мамо.

– Так, когда же нет ничего, так чего так сидишь? Шла бы за водой; пора готовить к ужину.

– Тотчас, мамо! – сказала Маруся, и сама ни с места.

Ожидала мать, ожидала, потом опять к ней; уговаривала ее, после и ворчала на нее; так уже насилу да насилу разговорила ее, что она, раздевшись и не припрятав порядком ни лент, ни наместа и ничего из платья своего, взяла лукошко, чтобы в огороде зелени нарвать, да вместо огорода пошла к колодцу за водой, как будто с ведрами. Идет и нужды нет; да уж как пришла к колодцу и как стали люди над нею там смеяться, так она тогда спохватилась, да скорее домой. Что ж? И дома не лучше было: затопила печь и поставила в нее горшки – пустые; вместо пшена, чтоб заправить борщ, она трет соль в чашке и туда борщу подливает... И что ни возьмет, до чего ни бросится, все не так, все неладно, так что и старый Наум, возвратясь домой и смотря на такое ее прибирание, сам удивлялся.

Сяк-так, отдавши ужин, Маруся вышла к коровам, а Настя стала тужить и говорить Науму:

– Ох, мне лихо тяжкое! Что ж это с Марусею делается? Говорит, что совсем здорова, а за что ни возьмется, что ни начнет делать, все неладно и все не так, как надо. Да чего-то себе или тужит, или что? Оборони бог, не сглаз⁹⁹ ли ей стало?

– У вас баб все сглаз, – говорил Наум. – Дитя озябло на холоде или дитяти душно в хате – вы говорите сглаз; голодное, есть просит – сглаз; засмеялася, затужила, села или встала, все сглаз; везде и во всем у вас виноваты глаза. А что глаза могут сделать? Ничего. Смотрят себе на свет божий, да и полно. Рукою человеку беду сделаешь, а языком еще и большую, но глаза ни перед кем, ни в чем невинны.

– А чего же бабы, которые знают, так слизывают да и шепчут? Как оно ничего, то ничего бы и не делали, а то...

– На то шепчут и слизывают, чтоб таких дурочек дурить, как ты и прочие. Послушай только их; они, пожалуй, рады, чтоб тебе во всем шептать, лишь бы грошки сдирать. А кто может что человеку сделать, кроме Бога милосердного? Он нашьлет беду, он и помирует; только молись и его одного знай; а с тою бесовщиною, с ворожками¹⁰⁰, да со знахарями не водися. Помолися, Настя, Богу хоть лёжа, когда не сможешь приподняться, и я таки помолюся: увидишь, что Маруся наша завтра совсем здорова будет. Молчи же, вот она идет...

Маруся, совсем управившись и прибравши все, спрашивала мать, что нужно завтра на рынке купить, и взяла у отца, сколько надо было, денег, постлала постель на лавке, помолилася Богу и сверх всего положила три поклона, чтоб уже больше не думать об Василе. Ее так учил отец: когда, говорит, тебе чего надо или горе тебя одолеет, тотчас обратись к Богу, положи три поклона и проси об чем тебе нужда; тогда, наверное, жди от него милости. Он наш отец. Он знает, что кому и в какое время послать.

⁹⁸ *Доню* (укр.) – нежное обращение к дочери. (Прим. Л. Г. Фризмана)

⁹⁹ *Сглаз* – действие или следствие действия от сглазить. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁰⁰ *Ворожки* – женщины, промышляющие ворожбой, заговорами, знахарки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Вот с такою-то мыслью легла Маруся... Так что ж? И сон ее не берет! То и дело, что думает... да не об Василе, где-то уж! Она его и знать не хочет... Да и на что он ей?.. Он уж, верно, сговорен; ведь же и платок у него, что из кармана вынимал, то уже не мужской, а совсем девичий, и уже, верно, это она ему подарила!.. Да он невесел и на свадьбе был... Это верно оттого, что скучал по своей голубке... И после этого, чтоб я еще об нем думала! Как бы не так!.. Он себе и сидел, как будто один в лесу, ни на кого и не смотрел... (тут она вздохнула и продолжала думать) и меня затрогал теми орехами, лишь бы то уже... так! Нет, Василь, не нашим девкам об тебе думать; у тебя есть своя... Вот уж любит ее, думаю!.. Кажется, и здесь все об ней и думал, потому что в глазах так и видны были слезки... Теперь они до сих пор вместе... И она... уж, верно, целует его в те глазки, что как молния: как взглянет, так и осветит... Вот уж не целует она их! Вот оттого-то он по ней и плакать хотел... Отчего же я это плачу?.. Ох, горечко мое тяжкое!.. Когда б было знала, не ходила бы на эту свадьбу!.. На что было спрашивать Олену про него!.. Да нужды нет; я уже совсем про него и не думаю... Да и он про меня тоже. Может, он думал, что... то... я бы... то... что сказал: знаю такого, что тебя любит, а ему-то уже не можно, что уже он сговорен... Бог с тобою! Пусть тебе Бог помогает! И женися, и любися. Да чего же это я все плачу?.. Оттого и туга такая, что зачем я на эту свадьбу ходила!.. Теперь засну уж. Завтра, чем свет, встану, пойду на рынок и разгоню свою тоску. Когда же повстречаюсь с ним на рынке, то будто его и не знаю и не буду на него смотреть... А уж он, верно, с нею будет ходить по рынку, да кое-что будет покупать... То-то уж он будет рад, как женится!.. А она?.. Чего ж я заливаюсь слезами!.. Ох, бедонька моя!.. Ох, горечко мое!.. Чего таки я на ту свадьбу ходила!..

Вот так-то бедная Маруся, не хотевши и вспоминать про Василя, только об нем одном и думала. И хоть бы тебе на часок глазки свела! Плакала да грустила целехонькую ночь. А и длинная же у нас и ночь на Зеленой неделе! Вчерашняя заря еще не погаснет, а световая уже и загорается: покажется Воз¹⁰¹, да уж докатившись ко восходу солнца.

Вот и теперь: только что звездочки засияли у Бога милосердного на небесах, только что рассветились, та и то не совсем ясно, а как будто сквозь серпанку, – соловей затих подле своей самочки, чтоб она выспалась хорошенько, не тревожась; ветерок заснул, и ветки в садах дремля чуть-чуть шевелятся; только и слышно, что на плотине через спуск вода цедится, и как будто кто шепотом сказку рассказывает, что так и дремлет... А то везде очень тихо... Как вот недолго... Звездочка покатила... там другая... третья, и скрылись в синем небе, как в море канули, а, расставаясь с землею, немного всплакнули... Вот от их слезок пала роса на землю. Капелька ее сделала шелест в воздухе... И пробудился ветерок да и покачал тихонько ветки в садах и лесах... Вот и попробужались птички-самочки, раскрыли глазки, защелкали носиками... Тут тотчас их самчики, что подле них дремали, также проснулись, и с радости, что настает божий день опять, и они будут со своими самочками летать, играть, любиться, и что, может, которая и яичко снесет, – с такой-то радости запели свои песни, коими утро и вечер хвалят Господа небесного, отца милосердного как человеку, так и всякому зверю, птице да и самой малейшей мушке, которой и глазом не усмотришь. А кому уже так выпевать, как соловей! Защебечет, защелкает, зачирикает, засвистит, затрещит... То затихнет, то как будто шепчет своей самке, как ее любит, а она ему, видно, скажет, что и она его любит, и хвалит его песни; он тут с радости вскрикнет на весь сад... А как между тем еще носиками поцелуются... тут он уже и не опомнится... прижмурится, щебечет, терещет, то как будто охрипнет, но вдруг громко вскрикнет и задрезжит так, что дух у него как будто спирается... Да все же это так хорошо... что рассказать нельзя, а на душе весело!

Вот на березах зашептали листья между собою, что и они, по милости Божией, будут красоваться на ясном солнце. Ободрилась травка, как вскропила ее небесная роса; поднялись сте-

¹⁰¹ Воз, телега. Большая Медведица или Колесница. Оригин. (Прим. автора.)

бельки, распустились цветочки и, разинув роты свои, надыхали на всю долину таким запахом, что от него забудешь про все и только, вздохнувши, подумаешь: «Боже милосердый! Отец наш небесный! И это все, что только есть на земле, в воде, под небесами, все это ты, только по единому милосердию своему, сотворил для человека! А он, это ничтожное создание, эта былинка, эта пыль и прах, благодарит ли он тебя? И как?.. О, Боже праведный! Будь и всегда милостив нам, грешным!.. Больше сего не знаем и не умеем что сказать!..»

Вот и реденький туман спустился на речку и, как парубок, приголубившись к дивчине, вместе с нею обнявшись, побежали прятаться между крутыми берегами. Потом стали расходиться облака, рассеиваясь, сворачивались в комки, как клубки, и раскачивались, чтобы дать дорогу для какого-то пышного, важного гостя, царя, творящего добро всему миру. Вот и закатались далеко, далеко за крутые горы, чтоб только оттуда смотреть на то, что здесь будет происходить!.. Вот и зарумянилось по той дороге, где ему надо идти... Разостлалась, как будто сукно алое, как кармазин¹⁰²... вот... как будто серебряными цветками по этому сукну кто посыпал... А тут, точно золотым песком по алому полю, и весь путь стал усыпан... Зазолотились верхушки дерев по лесам... и вот золотой на них песок сыплется по веткам все ниже... ниже... все стихло... чего-то ожидает! Стало показываться из-за земли... что?.. И свет, и огонь, и краса, и уже на черту его не можно взглянуть глазом; что ж будет, как все явится миру!.. Вот золотые лучи от него осыпали всю землю, и самые небеса стали как будто еще великолепнее. Все молчит, жаждет, чтоб поскорее явилась в полноте краса миру!.. Идет!.. Явилась во всем виде, воззрела на землю... И как будто повелевала:

– Хвалите Господа, создавшего меня и вас и посылающего меня ежедневно давать всему миру свет и жизнь всякому дыханию!

Тут вновь все птички, как будто по повелению, защебетали; все как снова ожило; человек снова принялся за дело свое... и весь мир возрадовался...

Вот вышел и Василь из сада. Он очень хорошо слышал, что Маруся с Оленой уговорились вместе идти на рынок. Так он уже и не пошел домой в город, а в том же селе, от города версты с четыре, скитался всю ночь; и как стало светать, он их уже и стерег. Посматривая из сада, увидел, что две девки гораздо отстали от прочего народа, тихонько идут себе и разговаривают. Он тотчас отгадал, кто это идет, сердце у него забилося и сказало ему. Вот он-то и пошел будто в город тихим шагом, наклонивши голову, как будто задумался, а у самого жилки трепещут и дух захватывает от радости, что еще увидит Марусю и поговорит с нею.

Вот идут две девки: Олена, как сорока щебечет, что на ум вспадет; а Маруся, будто и слушает, да все про свое думает... как глядь!.. И узнала своего Василия... Руки и ноги задрожали, в животе похолодело, дух захватило, и сама ни с места.

– Да иди же скорее, – крикнула на нее Олена, – чего ты приостановляешься? И так опоздали.

– Да кто его знает, спотыкнулася что ли, – говорит Маруся, сама ни с места, хотя так бы и летела к Василию, как голубка к голубю; уже она и забыла, что, может, он ее не любит, что уже сговорен на хозяйской дочери... Все забыла, а только того и желает, чтоб быть вместе со своим Василем.

Вот как слышал Василь, что девки уже за ним говорят, оглянулся к ним, снял шапку, поклонился и говорит: «Добрый день, девчата, Боже вам помогай!»

– Благодарствуйте, пусть и вам Бог помогает! – сказали ему вместе обе девушки.

Вот и говорит Василь:

– Не бежала ли против вас бешеная собака?

– Цур ей, пек от нас, – говорит Олена, – мы ее не видали. Разве где она бегаёт?

¹⁰² Кармазин — старинное дорогое темно-красное сукно. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Вот тут только что перед вами бросалась на людей, – говорил Василь, – то прогонят ее, а она опять забежит, да и не знаешь, откуда ее и остерегаться. Да такая сердитая, на всех так и кидается. Так я вот это выломил себе дубину, и иду, и оглядываюсь.

– Ох, лишечко! Я ее боюсь. Воротимся, Маруся, – говорит Олена.

– Не бойтесь, девушки: ведь вы в город, и я в город, так я с вами буду идти, а когда собака нападет, я вас защищу.

– Вот за это благодарим. Теперь нам, Маруся, не страшно, – сказала Олена, а сама радешенька была, что с парубком всю дорогу будет идти. Вот и пошли они себе вместе.

Совсем же то наш Василь солгал, будто там бегала бешеная собака. Это он их напугал нарочно, чтоб они припросили его проводить их и чтоб не церемонились с ним идти.

Вот как идут, и Василь их опережает – известна уже молодецкая походка против девичьей – так и поджидает их; вот Маруся собиралась как бы то с ним заговорить, а потом и говорит:

– Видите, как мы тихонько идем, и вы нас поджидаете... Может... мы вам мешаем?

– А чем? – говорит Василь. А Маруся говорит:

– Тем, что, может, вам... нужно в городе быть; может, вас хозя... хозяин ждет.

Это все сказала с намерением, чтобы выпросить его, не скажет ли чего про хозяйскую дочку.

– Уж мне теперь город! Забыл про него и думать, – сказал Василь, а потом, тяжело вздохнувши, говорит: – Одно у меня на мысли, когда б то Бог помог!.. Только затем и пойду к хозяину, чтоб...

– А отчего вы вчера на свадьбе не танцевали?... – прервала его Олена да и начала с ним лепетать... Он ей нехотя слово скажет ли или нет, а она ему десять, да так и режет, и режет, да выдумывает, да прикладывает, да придирается, что уже Василь никаким способом и не отвяжется от нее.

А бедная же то Маруся затрогала было Василя, а теперь и сама не рада. Теперь он, не таясь, сказал, что у него есть что-то на мысли и за тем только идет к хозяину. Это уже, верно, чтоб условиться о сговоре на его дочери.

Вот в таких мыслях идет-нейдет, и ноги не служат, и сердится на себя, зачем она пошла на рынок; сердится на Василя, зачем он им навстречу попался, и, почти уже сговоренный, а с посторонними девками будет ходить по рынку; сердится и на Олену, зачем она такая веселая, чего так с сговоренным парубком лепечет; сердится на всех и на все, а сама не знает, за кого и за что.

Пришли в город, походили по рынку. Олена тотчас искупила все, что ей нужно было, а Маруся только ходит за нею, и скучает, и все понуждает Олену, чтобы воротиться домой. Василь же все с ними ходит и носит Марусино лукошко и складывает туда, что Олена купит. Далее осмелился как-то спросить Марусю (потому что, видевши, что она во всю дорогу молчала, наверное, полагал, что она на него сердится) и спрашивает ее:

– А ты, Маруся, зачем ничего не покупаешь?

– Да мне немного... кое-чего и купить, – говорит Маруся, отвернувшись от него, чтобы, видите, и не смотреть на чужого жениха. – Только и надо купить матери... огниво на трубку... а отцу красных... ниток... для вышивания платков... да говядины на Петров пост¹⁰³...

Вот так-то напутала наша Маруся, что чуть и сам Василь ей в глаза не насмеялся. Еще же хорошо, что этого не слышала Олена, торгуя булавки. Но Василь только себе тихонько усмехнулся, потому что догадался, что оно что-то не так, и взялся, что нужно было Марусе, купить. Купивши и сложивши все вместе в лукошко, и говорит:

– Как же вы хотите, девушки, а я вас провожу даже домой, чтоб защитить вас от собаки. Да мне таки в вашем селе есть и дельце к одному человеку.

¹⁰³ *Петров пост* установлен в память апостолов Петра и Павла, соблюдается 8—11 июня. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Опять-таки Василь солгал: не было ему ни до какого человека никакого дела, а хотелось ему... Да повидим, что будет дальше.

Вот и пошли они опять вместе из города. Только что вышли из улиц на выгон, вот Олена как вскрикнет:

– Ах, я дура, сумасшедшая! Забыла зайти к сапожнику за отцовыми сапогами! Что тут мне делать на свете?

Потолковавши, положили, чтоб Олена сама воротилась в город за сапогами, потому что недалеко и в улицах не страшно, а Василь чтоб остался подле Маруси, и чтоб тут они ожидали Олены, которая располагала скоро к ним воротиться.

Вот как остались вдвоем Василь с Марусею, то и сели себе на бугорке. Василь тотчас и начал говорить:

– Маруся! Хотя ты рассердишься на меня, хотя прогонишь от себя, хоть не велишь никогда на глаза тебе попадаться, а я таки теперь договорю, что вчера хотел сказать...

– Что там такое? – спросила Маруся, а сама испугалась так, что и рассказать не можно, а сама не знает чего.

– Маруся! Один ли я был бы такой на свете, чтоб, повидевши тебя, не полюбил бы пламенно?.. Люблю тебя, Маруся, всем сердцем моим, люблю тебя больше всего на свете!.. Не сердися на меня, не отворачивайся, не закрывай глазок твоих белою ручкою; дай мне ее сюда, пусть прижму ее к своему сердцу, да тогда хоть и умру, когда тебе неужодна чистая моя любовь! Что же ты молчишь?.. Зачем не глядишь на меня?.. Промолви ко мне хоть полсловечка, скажи, что ты не сердись на мою любовь. Узнавай меня, расспрашивай про меня, может, так что-нибудь про меня доброе услышишь.

Еще только стал Василь так говорить, как Маруся и не вспомнилась; сердце в ней так и бьется, а сама, как в лихорадке, так и трясется. Боится, а сама не знает чего... Если бы земля расступилась, она так бы и бросилась туда, да и... Василя потащила бы с собою; когда б ей крылья... улетела б она на край света... да не одна, а все бы таки с Василем... Что же ей делать? Земля не расступается, крыльев у нее нет, ноги как будто не ее. Руку одну схватил Василь, да и держит у сердца своего, а оно так же бьется, как у нее; глаза совсем света не видят, а еще-таки другою рукою закрыла их, да и спрашивает Василя так тихонько, что и сама хорошо не разумела:

– Ведь же ты сговорен?

– Нет, Маруся, ни на ком я не сговорен и ни об одной девушке не думал до сей поры. Увидел тебя вчера, свет мне переменился! Без тебя не хочу жить! Да и сам вижу, что мне без тебя не можно и дышать. Да и где найду я краше тебя?..

– А хозяйская дочь? Ведь же он принимает тебя вместо сына? – сказала Маруся немного смелее, потому что уже на сердце ей не так тяжело было.

– Не только хозяйская дочь, да хотя бы королевна, хотя княгиня, да хотя бы и сама офицерская дочь, не посмотрю ни на кого, всех презрю для тебя. Одна моя радость, одно мое счастье, когда ты будешь хотя немного меня любить!.. Расспроси про меня; целый год буду ждать, только...

– Вот, год! Это долго...

– Сколько хочешь, что хочешь делай со мной, только не прогоняй меня от себя, не сердись...

– Да я не сержусь...

– Чего же ты закрываешься, зачем отворачиваешься от меня?.. Может, любишь кого другого? Скажи, не стыдися; пусть я это сам услышу от тебя, да и пойду куда зря.

– О нет!.. Я другого не люблю...

– Так взгляни же на меня, не закрывайся!

– Але¹⁰⁴! Еще б и не закрываться... Ведь мне стыдно!..

– Чего же тебе стыдно, скажи? Что я говорю, в том нет ничего...

– А то и не стыдно сказать... что я тебя... люблю? Ни за что в свете не скажу... – Да при этом как заплачет горько и стала его просить: «Василечку, голубчик, соколик мой! Не выпытывай же у меня, люблю ли я тебя, потому что этого я тебе ни за что в свете не скажу, чтоб ты не посмеялся надо мной... Я сама не знаю, что сделалось со мною; я еще никогда не любила, никого не хотела любить, убегала от мужчин; но как увидела тебя, свет мне не взмилился, все мне стало противно, везде я скучала. А как сказали, что ты сговорен, так я и сама не знала, что и делать!..»

– Марусенька моя, лебедушка, звездочка моя, рыбочка, перепелочка! – приговаривал Василь, обнимая свою Марусю. – Я земли под собою не чувствую... Я словно в раю! Не сплю ли я? Так это правда, что ты любишь меня, Марусенька?! Скажи мне, правда?..

– Не скажу, Василечку, ей-богу, не скажу!

– Почему же ты не хочешь уверить меня в моем счастье?

– Стыдно ведь.

– Маруся, вот же поцелую, если не скажешь...

– Да хоть десять раз целуй, лишь бы не я тебя; а все-таки не скажу...

– Вот так же... вот так... вот так же! – приговаривал Василь, целуя ее раз по пяти, не отдыхая, да опять вновь за то ж... И потом уже не может и слова вымолвить... А Маруся лежит у него на руках, и сама себя не помнит, в раю ли она или где? Так ей хорошо было! Что-то хочет сказать и слова не может выговорить; хочет от него вырваться, так будто прикована к Василевой шее; хочет зажмуриться, так глаза против ее воли так и засматривают Василю в глаза, что как уголья на огне пылают; хочет от него отвернуться, а и сама не чувствует, как прижимается к нему... А он!.. Он только рассматривает ее, как будто ест ее глазами. Забыл весь свет. Хотя бы ему тут из пушек стреляли, хотя бы кто его ни звал, ничем бы не уважил, только что смотрит на свою Марусеньку, держа ее на руках своих.

Потом пришла она в себя, тяжело вздохнула и сквозь слезы сказала:

– Василечку! Что это со мною сделалось? Ничего не помню, не знаю сама себя; только у меня и на мысли, что ты меня любишь, что ты мой... Да мне больше ничего и не нужно!.. Боюсь только: нет ли мне за то греха?

– За что, моя Марусенька? – сказал Василь, прижав ее к сердцу и горячо поцеловав.

– Ох, не целуй меня, мой сизый голубчик!.. Мне все кажется, что грех нам за это... Боюсь прогневить Бога!..

– Так я тебе, моя Марусенька, тем же Богом божуся, что нет в этом никакого греха. Он повелел быть мужу и жене; заповедал, чтоб они любили один другого и чтобы до смерти не разлучались. Теперь мы любимся, даст Бог, исполним святой закон, тогда не разлучимся во весь век. А до того времени, как ни сойдемся, нам можно без греха и любиться и голубиться...

– А не дай бог, как... – сказала Маруся да и прижалась к Василевому плечу. И не договаривает, и боится взглянуть на него.

– Не доведи до того боже, – даже вскрикнул Василь и даже испугался, о чем Маруся стала ему намекать, – буду, говорит, моя кукушечка, как глаз беречь. Никакая скверная, бесовская мысль и на сердце не будет. Не бойся меня. Я знаю Бога небесного, он накажет за злое дело, все равно что и за душегубство. Не бойся, говорю, меня; и если бы уже и так случилось, что ты бы стала забывать о Боге и о стыде людском, то я тебя сберегу, как брат любимую сестру...

– Братец мой миленький! – вскрикнула Маруся и обняла его ручками. Долго смотрела ему в глаза и после говорит:

¹⁰⁴ Але (укр.) – «Но», распространенное в украинском языке восклицание, используемое в разных ситуациях: возражение, удивление и т. п. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Теперь я сама тебя поцелую даже три раза, потому что знаю, что и у тебя нет на мысли никакого худа, – и положила головку ему на плечо, засматривая в глаза, да так пристально, как будто тот барашек, которого хотят резать, а он жалко смотрит. Так и она взглянула на Василя, а слезка, как та росинка на цветочке, так и засияла у нее в глазах; и потом она его спросила, да так жалостно, как будто флейточка заиграла:

– Неужели же ты и после этого меня оставишь?

– Не говори мне этого, Маня! И не думай об этом, моя крошечка! Грех божиться, но я вот смертную клятвою побожусь, когда мне не веришь...

– Верю, верю, мой соколик, мой лебедик! И что бы ты мне ни сказал, всему верить буду!..

Много рассказывать, что там Василь с Марусею разговаривали. Забыли про весь свет, и где они находятся, и что вокруг них; и как бы не отозвалась еще издали к ним Олена, то бы, подкравшись тихонько, увидела все, как они поговорят-поговорят, да снова целуются. Когда же услышали Оленин голос, так тотчас и разрознились, как будто и не они; Василь стал, как дитя, песком пересыпаться, а Маруся, тут же найдя камешки, стала их из руки в руку перекидывать; а сами и не переглянутся между собою.

Вот пошли все вместе домой. Олена и думает:

«Что это сделалось с нашею Марусею? Никогда не была она так весела и говорлива, да еще с парубком, от которых было прежде удаляется, как не знать от чего, а теперь сама заговаривает, шутит, выдумывает и все смеется с Василем, а меня будто и нет с нею. Поутру, как шли, так слова из уст не выпустила; теперь же не замолчит ни на часок; поутру насилу шла и нападала на меня, зачем я спешу; а тут вперед всех бежит, земли под собою не слышит, да все кидает на Василя то песочком, то щепочками. А он ее ловит, а поймавши... даже крутит ей руки. Это что-то недаром! Подожди-ка ты, смирененькая, что бывало нас укоряешь за игры с парубками! Я тебе отплачу».

Стали подходить к селу, вот Василь и говорит:

– Теперь уже прощайте, девушки! Мне так было весело с вами. Благодарю и очень благодарю вас за все, за все, за все! Не знаю, когда-то увижусь с вами! (А у Маруси даже слезки выкатились. Обтерла их скорее платочком, чтоб Олена не видела, да и стала, будто бы то песенку напевать и как будто подплясывать под нее, а сама быстро смотрит в глаза Василю). – Нате же, – говорит Василь, – все ваше добро, выбирайте из лукошка; может, не потерял ли я чего? Я же пойду своею дорогою...

Вот девки стали выбирать. Олена все забрала и положила за пазуху, а Маруся, пересмотревши, сложила в лукошко и пошла себе. Только что отошел от них Василь подале, как Маруся, будто спохватившись, вспомнила и говорит:

– Вот также! Все забрала, а синий купорос¹⁰⁵, что батька велел купить, я и не взяла от Василя. Побегу, догоню его.

Догоняет, а сама все кричит, чтоб он подождал. Уж бы то Василь да не услышал бы Марусиного голоса! Не знаю! Стоит, как на иголках, и ожидает, чтоб Маруся подбежала к нему, и что-то она ему скажет?

Вот она, догнавши его, говорила:

– Я нарочно, будто бы то забыла взять от тебя синий купорос, чтоб тебе тихонько сказать: приходи сегодня к озерам, что в нашем бору, я там буду, и еще поговорим. Пусти же, не трогай меня, чтоб Олена не догадалась. Поддай сюда купорос и прощай, мой миленький соколик! Приходи же!

Сказавши это, сколько духу побежала к Олене.

Олена же все подсматривала, да и думает себе:

«Хорошо же до часа до времени. Не будет теперь меня удерживать».

¹⁰⁵ Синий купорос – сернокислая закись железа. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Пришла Маруся домой. Батюшки! Весела, проворна, и говорит, и рассказывает, и управляет за троих, так, что мать, глядя на нее, даже стала веселее и как будто от болезни ей легче стало. Хотела было поворчать на дочку, зачем долго проходила, так та же как начала к ней ласкаться, и приговаривать, и уговаривать ее, а сама и печь топит, и траву крошит, горшки вставляет, так что горит у нее дело.

Не успела мать оглянуться, уже у Маруси и обед готов. Села, ручки сложила и то и дело что рассказывает матери, как-то ей было хорошо идти на рынок еще до жару, что видела на рынке, как торговалась, как покупала, и кого видела, и с кем говорила, и что удивительного заметила – все, все до последнего раз по пяти пересказывала. Только про Василя ни полсловечка. Она-то и хотела бы матери рассказать, да не зная, с чего начать, подумала: «Пусть же спрошу у Василя, он меня научит, как про это рас сказать».

Пришел и старый Наум. Обедает и думает:

«Сроду Маруся такого доброго борщу не варила, как сегодня; и мясо хорошо сжарено, и все-таки хорошо, а лучше всего, что сама такая веселенькая и все рассказывает и шутит».

Потом и говорит Наум Насте:

– Видишь, я же говорил, что не надобно ни слизывать, ни шептать, – само пройдет.

После обеда прибрала ли Маруся или не прибрала, скорее схватила кувшинчик, да и говорит:

– Пойду же я, мамо, наберу вам земляники, там такой ее много было на рынке: наши девки так горшочками и носят. И вам насобираю, и может, что и продам.

Еще мать ей ничего на это и не сказала, а она уже и за воротами и поспешает прямо в бор к озерам. Хотя и видит по дороге землянику, но не собирает, а думает:

«Василь, может, меня уже ожидает, пойду, пойду скорее к нему; а как посижу с ним да буду возвращаться домой, тогда и ягодок насобираю».

Недолго она искала своего Василя; тут он и есть. Как же сошлись, так нужды нет, что, может, только часа три, как не видались, а словно как будто лет десять розно были. Обнимаются, целуют один другого, разговаривают, рассказывают; то, взявшись за руки, ходят; то опять сядут, да опять за то ж. И не опомнились, как стало вечереть. И то правда, что когда будешь вместе с тем, кого любишь, то день так скоро пробежит, как часочек.

Маруся первая вскрикнула:

– Ох, мне лишенько! Видишь ли, где солнце?

– Так что ж? – спрашивает Василь.

– А то, – говорит Маруся, – как я домой пойду?

– Не бойся ничего, я тебя провожу.

– Не то, чтоб я боялась, а то, что я не набрала ягодок; я же за ними и просилась у матери. Что мне тут на свете делать? Расскажу матери, что заговорила с тобой да и забыла.

– Нет, Марусенька, подожди еще говорить матери обо мне.

– А почему бы?

– Еще, мое сердечко, не время. Надо подождать.

– А как это можно? Отцу и матери надо все тотчас рассказывать и никогда не лгать перед ними. Что ж я теперь скажу, что не набрала землянички?

– Что хочешь, Маня, то и скажи, а только не говори про меня. Я сам, как придет время, я сам скажу.

– Но грех неправду говорить и перед кем-нибудь, а не только...

– Это не будет неправда, и им надо все рассказать, только как скажем теперь, а они, меня не зная, подумают, что я какой-нибудь бездельник, что только свожу тебя с ума, и будут нас разлучать. Потерпи, моя рыбочка, хотя через Петровки. Я так устрою, что они про меня будут

знать и слышать что-нибудь не дурное; тогда пришлю людей¹⁰⁶, тогда им все расскажешь. То ложь и грех, как совсем потаить, а мы только прежде времени им ничего не скажем. Так ли, моя барышня?

Спросил да и поцеловал ее страстно от сердца.

– Может, оно и так, – долго подумавши, сказала Маруся. – Я уже ничего не знаю, я все буду делать, что мне скажешь. Только уже, Василечко, мой казаченько, как себе хочешь, а я уж больше к тебе не выйду ни сюда, ни на улицу, ни на базар, никуда.

– А это же почему? – спросил Василь, испугавшись.

– Как себе хочешь, а только, по моим мыслям, это уже грех, когда чего нельзя матери сказать, да и то и делать тихонько от нее. Хоть рассердися совсем, не только так надуйся, как теперь, только уж я не приду, и не ожидай меня, и не ищи меня. Иное дело, как бы я сговорена была, тогда бы и ничего; а то кто-нибудь увидит, да про меня еще и слава пройдет. Не хочу, не хочу! Пусть Бог сохранит! Мне теперь и Олены страшно: она что-то смотрела на нас пристально, как возвращалась из города, и все что-то себе под нос бормотала. Тотчас же, пришедши, пойду к ней и все ей расскажу и попрошу, чтоб до времени никому не говорила. Прощай же, мой соколик, мой Василечик! Не сердися же на меня. Ведь же ты говоришь, что скоро пришлешь старост? Вот мы и ненадолго разлучаемся.

Сколько ни просил и как-то ни умаливал ее Василь, чтоб так выходила сюда через день или хотя через два, так ни за что на свете не захотела и с тем пошла домой, не велевши ему идти за собой. Он с поникшею головою пошел домой чрез гору, а она бором, да и вздумала, чтоб не совсем перед матерью во лгуньях остаться, пойти против стада, зная, что и Олена каждого вечера тоже выходит. Вот и хотела ей про Василя все рассказать и просить, чтобы молчала.

Олена не вышла против стада, а девки сказали, что сегодня утром, пока они были на рынке, приехали старосты и жених из хуторов, да не посмотрели ни на закон и ни на что, потому что человек очень хороший, подавали утром рушники¹⁰⁷, свенчали и, взявши ее с отцом и матерью, поехали, и там на хуторах верст за двадцать будут свадьбу праздновать.

Ау! Нашей Марусе немного легче стало, что не будет свидетеля, как она с Василем подружилась.

Пришедши домой, тяжело ей было отлыгаться¹⁰⁸ перед матерью, что не принесла ягод. Не солгав отроду ничего, не знала, как выпутаться и что сказать? Сяк-так, то стадом, то Оленою затерла-замяла дело, и концы в воду.

Пока управлялась, да прибирала и была с матерью, так ей было весело, а тем больше, что матери стало легче и она уже поднялась с постели. Отец тоже весел и ласков был к ней. Вот она не только не тужила, да еще сама себя благодарила, что так с Василем поступила и, ходя и прибирая, все думала:

«Когда бы скорее можно было рассказать про Василя, то бы как грех с души».

Как же легла в постель, так и не подумала, чтобы спать. Тотчас пришел ей на мысль Василь, как-то он, может, тужит, что не скоро с нею повидится. Да как и ей быть? Как, не видевшись с Василем неделю, а может быть, боже сохрани, и две, как и жить на свете! Еще-таки вчера, думала себе, я еще не так его любила, как сегодня, после того времени, как он сказал, что меня любит, да еще... как... поцеловал! Да вздумавши про это, как застыдится! И впопыхах чувствует, что лицо у нее как жар горит!

¹⁰⁶ Прислать людей, прислать старост, т. е. сватов. Перевод. (Прим. автора.)

¹⁰⁷ Закон, обычай велит непременно вечером сватать деву и, в знак согласия, перевязывать через плечо сватов или старост белыми полотенцами, вышитыми красными нитками. В случае крайней необходимости, сватанье происходит и рушниками перевязывают днем; но это уже отступление от закона. Перевод. (Прим. автора.)

¹⁰⁸ Отлыгаться – скрывать правду, отвираться. (Прим. Л. Г. Фризмана)

«Что ж это я наделала? – думает себе. – Я ли это, которая и слушать не хотела о молодых парнях? Сквозь землю бы пошла от стыда и срама! А что, как еще Василь надо мною смеется?..»

Тут ей еще жарче стало... А после, как рассудила, что Василь совсем не такой, чтоб ему смеяться, и что он божился, что ее крепко любит, то и утихла, и только того стыдилась, что... целовалась с ним и в бору долго с ним сидела. Да это ж уже, так думает, и впервые и впоследствии. Это на меня нашла любовь. А матуся говорит, что любовь как сон: не знаешь, не заспишь, и что делаешь, не знаешь, точно как во сне. Сохрани, Мати Божия, чтобы я худшего чего не сделала! Да как не буду с ним видаться, то играть не с кем будет. Хорошо я сделала и сама себя благодарю, что не велела ему приходиться к себе.

Так с собой потолковавши, встала (потому что уже рассвело) и тотчас принялась за хозяйство. Что же? Тут доит корову, а сама оглядывается, не идет ли Василь. За водою пошла – оглядывается, не идет ли Василь; в хате сало толчет, а на двери смотрит, не Василь ли их отворяет. Села за стол обедать, а сама в окошко глядь да глядь! Не идет ли Василь? И ждет его и не ждет, и хочет, чтобы пришел, и боится, чтоб не пришел.

В хате, сидя после обеда, думает:

«Когда б ни пришел, выйду на двор; на двор выйдет: когда б ни шел улицею, да чтоб меня не увидел – пойду лучше в хату».

И так то и дело беспокоится днем; а ночью, мало чего и спит, все ей-то на мысли, что когда-то она увидит Василя и когда уже не будет с ним разлучаться.

И Василь был не лучше ее. Не только работу, оставил хозяина и город; знай бродит вокруг села, где живет Маруся. Ходит, ходит – в бор пойдет; над озерами, где с нею сидел, сядет: нет Маруси, не идет Маруся. По улицам в селе ходит, да не знает, где ее хата, не знает, как зовут и прозывают отца ее. Маруся, да Маруся, больше ничего ему не нужно было знать; да и ее он не расспрашивал, потому что некогда было: все ей рассказывал, как любит ее, или слушал, что она рассказывала, как любит его.

Вот уже и заговенья¹⁰⁹ прошло, неделя Петровок проходит. Ходит наш Василь и не знает, что ему уже и делать... Как вот идет своею дорогою, видит, человек вез мешки от ветряной мельницы, да ось у него переломилась. Человек тот хочет, чтоб подвязать как-нибудь, так лошаденка не постоит, и тот человек мучится с нею; а другое и то, что и воза не поднимет, потому что уже старенький был себе.

Вот Василь, парень ловкий, повидевши это, подошел к нему, поздоровался и говорит:

– Дай-ка, дядюшка, я тебе помогу, а то не с твоею силою справиться с мешками и с лошадью.

Человек тот поблагодарил и просил помощи. Василь, как принялся, разом исправил воз, и сяк-так, на трех колесах, можно было доехать. Человек еще больше благодарил Василя и просил, когда ему по дороге, проводить его до двора, чтобы иногда не развязалось; тогда он опять не сможет исправить, а уже вечерело.

Василь пошел за ним потихоньку и ни о чем не расспрашивал, потому что ему ни до чего не было нужды, только и знает о Марусе думает. Вот идет да идет за возом; видит, человек в том селе, где Маруся живет, поворотил в улицу. Василь обрадовался: вот, думает, тут пробуду, то, может, что-нибудь прослышу про Марусю, как-то она, моя галочка, поживает...

Как вот человек въезжает во двор... Василь глядь!.. Бежит его Маруся навстречу к человеку и кричит:

– Где это вы, тато, были? Мы вас... – да и замолчала, как увидела своего лебедика, да от радости не знает, что и делать: воротилась в хату, да даже трясется и не знает, что ей и говорить.

¹⁰⁹ *Заговенье*. Заговеть – начать поститься. Здесь имеется в виду Петров пост. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Наум, это он-то и был, поносивши мешки в амбар, распрягши лошадь и убравши все с Василем, вошли в хату, сели, поговорили. Василь уже не молчал: то про се, то про то спрашивал; про себя рассказывал, как живет, где служит; учтивый был к Насте, а на Марусю, что тут мыкалась то в комнату, то в хату, то с хаты в сени, то из сеней опять в хату, так без всякого дела, и не смотрел вовсе и будто то и не он. И она себе даром, как будто его отроду впервые видит.

Посидевши Василь и наговорившись, стал собираться домой. Наум и говорит:

– Приходи, Василь, когда хочешь, к нам завтра обедать; Святое Воскресенье, еще наговоримся.

Василь сказал, что придет, поклонился и пошел из хаты, а Наум и кликнул:

– А где ты, Маруся? Проводи Василя от собаки за ворота.

Марусе того и надо: скорее из хаты, и еще Василь не вышел из сеней, как уже и подле него, и сплелись руками. Она ему и говорит:

– Василечку! Как бы тебя еще день не увидела, то бы и умерла!

– Завтра, Масю, и я тебе расскажу, как я страдал без тебя. Теперь, сделай милость, прислушайся, что старики про меня станут говорить? Будут ли хвалить или корить? Да и скажешь мне, чтобы я знал, как начинать наше дело.

– А вот что я сделаю, Василечку! Когда мои старики будут тебя хвалить, то я навяжу на голову красную ленту и косы покладу; когда же не дай бог, что нет, то навяжу черную ленту без кос. Ты только придешь, так на меня взгляни, то и будешь знать. Прощай же, мой лебедик, до завтраго.

Во весь вечер Маруся хоть ложки, миски перемывала, полки смывала, печь мазала, голову мыла, да все тихо делала, что ее и не слышно было вовсе; боялась она, чтоб чрез свой шелест не пропустить какого слова, что отец и мать будут говорить про Василя. А те знай его хвалят. Настя то и дело рассказывает, какой он учтивый, какой собою красивый; а Наум хвалит, какой он разумный, как будто грамотный. Я, говорит, знаю весь его род; род честный, дядья богаты; хоть он себе и сирота, – да ба! – и отецкий сын не будет такой бравый казак; уже нечего сказать!

Маруся не пропустила ни одного слова и еще с вечера приготовила красную ленту, чтоб завтра на голову навязать; и с веселостью, и с радостью легла спать. Только того уже нельзя сказать, спала ли она ту ночь хотя часочек?

Утром вырядилась наилучше: поплела косы в самые мелкие косички и венком на голову поклала, какие были лучшие ленты, навязала на голову, а поверху всех положила красную и цветочками убрала. Метнулась ли там или как, а уже и обед у нее поспел, борщ с живою рыбою: бегала сама с вечера к соседу, рыболову, да и выпросила; пшонная каша с постным маслом; пшеничные галушки с соленою тюрею да вареники с истертым конопляным семенем. Управившись, еще с отцом к церкви сходила.

Только что воротились из церкви, Маруся глядь в окно, ан Василь уже и идет. Тотчас выбежала, будто защитить его от собаки, а больше затем, чтоб увидел, что на ней красная лента. Вот выбежала да скорей и кричит:

– Не бойся, не бойся! – а рукою поводит по лбу, как будто говорит:

– Не бойся, видишь, красная лента!

Ну, как там было, пообедали славно и наговорились. После обеда Наум лег да и заснул; а потом и Настя склонилась да и себе заснула. А молодые знай себе голубятся да милуются. После, как старики проснулись, то сидели то в хате, то под коморою в тени, даже пока совсем ввечеру Василь пошел домой.

Зачастил же наш Василь к старому Науму всякий божий день! То было дело к кузнецу, то к бочару, то так приходил к человеку за делом, да всякий раз и зайдет к Науму: когда застанет, то с ним, а когда не застанет, то с Настею посидит, поговорит. И так уже они к нему привыкли, что когда в который день хотя немного замешкает, то они уже и скучают; и тот и та говорит:

– Нет же нашего Василя, не идет обедать!

Всякой раз они оставляли его у себя обедать. А Маруся?.. Маруся себя не помнила от радости! Придет Василь, то она уже сыщет место, где с ним обо всем тихонько переговорит и наmilуется; а когда и без него, то только и слышит, что старики его выхваляют.

Вот дождались Петрова дня, разрешили на мясное.

В самый день полу-Петра¹¹⁰, так уже перед вечером, вбежала Настя в хату и, запыхавшись, кричит:

– Наум! Наум! Кажется, старосты¹¹¹ идут.

– К кому?

– Да к нам, к нам, вот уже во дворе. Садись скорее на лавку. А ты, Маруся, беги скорее в комнату да наряжайся.

Маруся, как только услышала про старост, то, что было в руках, все уронила, и не вспомнится, что ей делать; только смотрит на мать, а глазки, как жар, так и горят; сама же была румяна, а то покраснела, как калина. Вот мать скорее пихнула ее в комнату и стала ее наряжать в новую плахту и все, что надобно по-девичьи.

Затем вот стукнули под дверью палкою три раза.

Наум проворно достал новую свиту, новый пояс, одевается, подпоясывается, а сам дрожит, как с испугу, и говорит себе тихонько:

– Господи милосердый! Дай моей дочке доброго человека! Не за мои грехи, а за ее доброту пошли ей счастье!

Вот уже стукнули и вдругое, тоже три раза палкою.

Наум, одевшись совсем, смел со скатерти, что на столе, и хлеб, всегда там лежащий, подвинул к переднему углу (а затем Настя затеплила свечку у образов), сел на лавку у конца стола и ожидает¹¹².

Как вот застучали за дверью и втретье, тоже три раза.

Тогда Наум перекрестился и говорит к стучащим за дверью:

– Когда добрые люди, да с добрым словом, то просим пожаловать! Настя! Иди же, садись и ты.

Вот Настя, убравши затем Марусю, вышла и, перекрестясь три раза, села подле Наума.

За Наумовым словом вошли в хату два старосты, люди хорошие, почетные, мещане, в синих жупанах, английской каламенки поясами подпоясаны, с палочками, и у старшего старосты хлеб святой в руках. За ними вошел Василь... Сохрани, Мати Божия, ни живой ни мертвой; белый как стена.

Вошедши в хату, старосты помолились Богу святому и поклонились хозяину и хозяйке.

Тотчас Наум, хотя и знал их очень хорошо, но только для закона начал спрашивать:

– Что вы за люди, и откуда и зачем вас Бог принес? Старший староста и говорит:

– Прежде всего дозвольте нам поклониться и добрым словом прислужиться. Не погнущайтесь выслушать нас: и когда будет тее, так мы и о нее, когда же наше слово будет не в лад, то мы и пойдем назад. А что мы люди честные и без худой науки, то вот вам хлеб святой в руки.

Наум, взявши хлеб, поцеловал и, положивши на стол подле своего хлеба, говорит:

¹¹⁰ 30 июня, на другой день Петрова дня, празднуется 12 Апостолов; простой народ называет этот праздник полу-Петра. Перевод. (Прим. автора.)

¹¹¹ Сваты. (Прим. автора.)

¹¹² Все описываемые действия и разговоры должны быть соблюдены во всей точности. Родители и сваты, зная друг друга очень коротко, говорят установленное, законные речи, как будто вовсе незнакомые между собою и будто не постигая, зачем пришли и чего требуют от них сваты. Девушку сватать приходят всегда два старосты; младший ничего не обязан говорить, а только поддакивает; ко вдове или посмеяться над девкою приходит один староста. Перевод. (Прим. автора.)

– Хлеб святой принимаем, а вас послушаем. Садитесь, люди добрые! К чему еще придется, а вы своих ног не изнуряйте; может, и так издалека шли. А из какого царства, из какого государства?

Старший староста и говорит:

– Мы есть люди немецкие, а идем из земли турецкой. Мы себе ловцы, удалые молодцы. Раз дома, в нашей земле, выпала пороша. Я и говорю товарищу: чего нам смотреть на такую шивырю, пойдем искать всякого зверю – и пошли. Ездили, следили и ничего не получили. Навстречу нам как раз едет на вороном коне вот этот князь. (А Василь встал, да и кланяется, потому что это об нем говорили.) Вот после встречи он говорит нам такие речи:

– Эй вы, ловцы, добрые молодцы! Сослужите мне службу, покажите дружбу; вот как раз попалась мне лисица или куница, а чуть ли не красная девица. Есть-пить не помышляю, достать ее желаю. Помогите, поймайте; чего душа захочет, всего от меня желайте. Десять городов вам дам и скирду хлеба. Вот ловцам-молодцам того и треба (надо). Пошли мы по следам, по всем городам. Прежде след пошел в Неметчину, а оттоль в Туретчину. Ходим, шукаем (ищем), а ее не поймаем. Все царства-государства прошли, а ее не нашли. Вот и говорим князю:

– Не только в поле зверя что куница: поищем где инде, найдется и красная девица. Так наш князь затылся (заупрямился), при своей мысли остался. Сколько, говорит, по свету ни ездил, в каких царствах-государствах ни бывал, а такой куницы, как будто красной девицы, не видал. Вот мы все по следу шли, да и в это село – как зовется не знаем – пришли. Тут опять пала пороша. Мы ловцы-молодцы давай ходить, давай следовать; сегодня рано встали и тотчас на след напали. Пошел наш зверь, да к вам во двор, а со двора до хаты; теперь желаем его поймать. Верно, уже наша куница у вас, в хате, красная девица. Нашему слову конец, а вы сделайте нашему делу венец. Отдайте нашему князю куницу, вашу красную девицу. Отдасте? Или пускай подрасте?¹¹³

Пока староста это законное слово говорил, Маруся в комнате все клала поклоны, чтоб отец отдал ее за Василя, а он, сидя на лавке, сквозь дверь смотрит на нее, да тоже то вздохнет, то переглянется с нею. Как же староста все проговорил и пришлось отцу говорить ответное слово, она так и прильнула к дверям и слушает.

Вот Наум, все задумавшись, слушал; помолчал и говорит:

– Не умею я ладно в сем деле говорить... Благодарю вас за ваш труд... Или вы с дальней дороги... то, может, выпили бы по чарке горелки¹¹⁴...

Маруся, как это услышала, зарыдала! Настя же об пол руками ударила, да и крикнула:

– Ох мне лихо! А почему же это так?

А Василь так об землю и грянулся, да и приполз на коленях к Наумовым ногам, да целует их, да горько плачет и просит:

– Будьте мне отцом родным!.. Не гнушайтесь бедным сиротою... За что у меня душу отнимаете!.. Не могу без вашей Маруси жить!.. Буду вам как батрак служить вечно!.. Буду всякую вашу волю исполнять... Что хотите, то и делайте со мною... Дайте сиротинке еще пожить на свете...

¹¹³ Это общая, обыкновенная аллегория. Староста, опытный краснбай, берет другие предметы и, украшая разными прибаутками, всегда должен привести к требованию куницы. Перевод. (Прим. автора.)

¹¹⁴ Различным образом бывают отказы женихам. Самый вежливый: не отвечая ничем на сделанное предложение, со всею учтивостью подносят по чарке горелки. Сметливый староста тотчас уходит и после благодарит, что вежливо отказали и не наругались. При отказе с насмешкою подносят сватам тыкву сырую, или приготовленную ставят на стол с прочими кушаньями, или неприметно кладут в шапку свату или жениху и проводят ласково, со всеми уверениями, что предложение принято. Но когда порочный жених своим сватовством обижает девуку, тогда при начале предложения гасят все свечи в избе, чтобы сваты принуждены были ощупью выбираться из избы. На другой день все узнают о таком бесчестье жениху, и насмешки не прекращаются. В случае несправедливой обиды жених жалуется своему начальству и ему дают суд; тогда родители невесты платят жениху бесчестье. Перевод. (Прим. автора.)

Тут и Маруся, забывши, что ей прилично и что нет, также выбежала себе и упала к ногам отцовским, и просит, и плачет, то бросится к матери, и руки их целует и приговаривает:

– Таточку! Голубчик! Соколик! Лебедик! Маточка моя родненькая! Уточка моя, перепелочка, голубочка! Не губите своею дитяти, дайте мне, бедненькой, еще на свете пожить! Не разлучайте меня с моим Василечком!.. Не держите меня, как дочь: пусть я буду вам вместо работницы, всякую работу, что скажете, буду делать и не охну. Не давайте мне никакого имуществва; буду сама на себя зарабатывать, буду вас сберегать и почитать, пока жива. Хоть один годочек дайте мне с Василечком пожить, чтоб и я знала, что за радость на свете...

Вот так и Маруся и Василь, один перед другим все просили своих стариков, да так жалобно, что оба старосты встали и знай полами слезы утирают. Далее старший староста не вытерпел и говорит:

– Ох, панове сватове! Не след мне, бывши в таком важном чине, лишнее слово говорить! Мое дело такое: сказал, что закон велит, да и жди ответу; что услышишь, с тем назад иди. Сказано, дать нам по чарке, так тут уже нечего доброго ожидать. Однако, видя их слезы и убивство, как-то больно и нам не сказать чего-нибудь. А что ведь, Алексеевич? Негде деваться, благослови деточек. Пускай Маруся нас повяжет¹¹⁵.

Наум только покачал головой, обтер слезу рукавом, да и опять потупил голову и молчит. Староста говорит:

– Может, старая мать это все умничает.

– О, батюшки мои! – тотчас отвечала старая Настя. – Я ли бы не хотела счастья своему дитяти? Ведь она моя утроба! Да и где нам лучше Василя сыскать? Он малой разумный, покорный; всяк бы нам позавидовал. Так разве же я не жена своему мужу, чтоб могла его не слушать? У нас идет по-божьему да по-старосветски: он мне закон, а не я ему; отчего же он не отдает, я не знаю, он всегда любил Василя. Говори, Наум, что ты это делаешь?

Тут снова приступили и дети плачучи, и старая Настя рыдаючи, и старосты кланяючись, да знай просят Наума...

Молчал он, молчал, только знай слезы глотает. После встал, вздохнул горестно, перекрестился перед Господом милосердным да и говорит:

– Одна у меня на свете радость – моя Марусенька! Каждый день молюсь, чтобы она была счастлива; так как же, помолившись об одном, сам буду делать другое; молившись об ее счастье, сам буду ее топить. Прощайте, панове-сватове! Коли хотите, то вправду выкушайте по чарке; когда же нет, то извините, дайте и мне покой, потому что... Ох не хотелось было этого говорить, да вы меня разжалобили!.. Потому что мне очень жаль, что лишаюсь Василя, да нечего делать. Прощайте, люди добрые, идите себе, не прогневайтесь!

Тут опять все приступили к нему, что когда, говорят, любишь Василя, так почему не отдаешь за него Маруси? Маруся же так и повисла отцу на шею и обмывает его слезами; а Василь тоже припал на колена, да горько плачет, да все просит.

– Але! Зачем не отдаю? – сказал Наум, вздохнувши. – Потому что жаль своего рождения. Не тотчас; при таком важном деле, как есть сватовство, не можно всего говорить. Приди, Василь, завтра, да сам, без людей; вот тут я тебе все расскажу. Больше нечего и говорить, прощайте! Вот вам и хлеб ваш святой!

Хотели ли или не хотели, а, взявши свой хлеб, назад пошли из хаты с Василем; или так сказать, что повели его, потому что он сам не смог идти.

Остался Наум со своей семьею, сел себе и горюет. Маруся даже слегла от слез, а Настя, плачучи, сидела над нею и удивлялася: что это старому сделалось, что вдруг охулил Василя? Об ужине никто и не думал: некому было готовить, и никто не хотел ничего есть.

¹¹⁵ Повязать рушниками – знак согласия и *совершенного* сговора. Отрекшаяся после сторона платит по мирскому приговору другой бесчестье. Перевод. (Прим. автора.)

Вот сидел Наум, сидел, думал да думал, а после и отозвался:

– Полно плакать, Маруся! Встань да слушай, о чем я буду спрашивать. Наум был не тот отец, чтоб Маруся могла его не послушать. Смогла ли или не смогла, а когда отец говорит без шуток, да чуть ли еще и не сердит, так надо встать. Встала, отерла слезки и ждет, что он ей скажет.

– Ты, видно, знала Василя еще прежде, нежели я его привел?

– Знала, пан отченьку! – И затряслась, как осиновый листочек, и опустила свои длинные ресницы на глаза, чтоб не видел отец, как ей стало стыдно.

– Как же это было? – спросил он ее грозно.

Тут Маруся, хотя и с запинкою, а рассказала ему все: как увидела его в первый раз на свадьбе, как ей стало его жаль, как он гадал с нею орехами, как она его стыдилась, и все, как рассказала: как, и на рынок идучи, сошлись, как с рынка возвращались, что говорили – и нельзя было правды скрыть – как и целовались...

– Ну, ну! Что дальше? А начало хорошо! – говорит Наум, а сам и видно, что как на ножках сидит.

Вот Маруся, сплакнувши, смелее стала было рассказывать, как условились с ним сойтись в бору на озерах, и как сошлись, и как...

– Полно, полно! – закричал не своим голосом, рассердившись, Наум, – то уже рассказывай матери, что не умела тебя беречь и от худа отводить! – А сам, схватив шапку, хотел было бежать из хаты, но Маруся так и вцепилась ему за шею и говорит:

– Нет, таточку! Нет, мой сизый голубчик! Не погубила себя твоя дочь и не погубит. Маточка моя родненькая! Лучше мне всякую муку принять; на смерть пойду, а не принесу тебе никакого бесчестья ни для какого пана, ни для какого генерала; я помню ваши молитвы; я знаю, что я ваша дочь: так можно ли, чтобы я на свою погибель шла? Вот как все дело было.

Тут она и рассказала, что себе с Василем говорила, и как у них там было, и как она запретила Василию ходить к себе, и для чего. Рассказала и то, как скучала и тужила без него. Все рассказала, как что было до последнего часа.

Наум еще-таки спросил:

– Смотри – полно, всему ли этому правда и не потаила ли ты чего?

– Всю правду вам сказала; и что ничего не потаила, так, когда велишь, тато, чтоб побожилась, то, как хочешь, так и побожусь.

– Великий грех, – говорит Наум, – божиться, а еще пуще, как напрасно; я же тебе и без божбы верю. Теперь слушай меня, Маруся! Не раз тебе говорил, что девкою тебе оставаться не можно, надо идти замуж. Приказывал тебе, что только кого полюбишь, тотчас скажи мне прямо: а я, рассмотрев, кто бы это был, так бы и оканчивал дело. Когда бы он мне не годился, то я сказал бы тебе: не надо, не знай его; а когда бы годился, то ему прежде всего сказал бы так, что и ты бы не знала: присылай, казак, за рушниками, потому чтобы пока до сговора, так чтоб не было у вас никакого жениханья¹¹⁶, которое до добра не доводит. Счастье твое и наше с Настею, что Василь такой честный и богобоязливый; а другой, ты бы и не опомнилась, как навязал бы тебе камень на шею, что и вовек не избавилась бы от него, разве бы только с моста да в воду. Как бы я знал с самого начала об Василе, то я сказал бы тебе, почему не отдам за него, и ты не привязывалась бы так к нему, и легче тебе было бы его забывать. А теперь как знаешь, так и терпи, потому что не отдам.

Тут Маруся, как уже рассказала перед своими всю правду, то и стало ей на душе веселее и на сердце отраднее, то и начала снова просить отца, чтоб таки отдал за Василя, а что она хоть век будет сидеть в девках, а ни за кого не пойдет, кроме его.

¹¹⁶ На русском языке нет слова, выражающего жениханье. Это ласки, но с соблюдением всей благопристойности. (Прим. автора.)

– Говори! – сказал Наум. – А знаешь ты, голова, что отец видит твоё счастье лучше, нежели ты? Ты молода, глупа! Ложися, девка, спать; завтра будешь старше, чем сегодня, а оттого и умнее. – Перекрестил её и пошел себе от неё.

Ни свет ни заря, а Василь уже у Наума. То сядь, то так, пробыли до обеда. И варивши обед и подавши на стол, Маруся заливалась слезами, полагая, наверное, что в последний раз видит своего Василечка. Да, правду сказать, так и все невеселы сидели, а за обедом к блюдам никто и не принимался.

Вот как прибрали со стола, Наум и сказал жене и дочери:

– Идите себе или в комнату, или под комору на просторе шить; а нам тут с Василем не мешайте.

Вот как они вышли, Наум и говорит:

– Василь! Сядь-ка подле меня, да слушай, не прерывая, что я тебе скажу. Не за мою правду, потому что у меня, кроме грехов, нет ничего, а по отцовским и материнским молитвам наградил меня милосердый Бог женою доброю, трудолюбивою, покорною и несварливою. Родительского имущества мы с нею не растратили, а понемногу Бог благословляет, все добавляем. Велика милость Божия! Утро и вечер благодарю за его неоставление! Но наибольшая милость Божия к нам, грешным, в том, что наградил нас дочерью, да ещё какою? Это не человек, это ангел святой!..

– Ох, правда, дядюшка... – прервал его Василь, а он его тотчас остановил и говорит:

– Перестань же, Василь, молчи, слушай и не прерывай меня. Это ты, видевши её глаза, её щеки и что она во всем собою красива, ты и хвалишь её; а я не про тело её, я говорю про душу её. Она такая тихая, послушная; Бога небесного знает, и любит, и боится прогневать его; нас почитает и остерегается, сколько можно, чтоб ни в чем нас не прогневать. Сострадательна не то что к человеку, но и к малейшей козявочке. Худа никакого и по слуху не знает и боится самой мысли об нем. Как сама добра и незлобная, так и обо всех думает, всякому поверит, – и Бог её сохранил, что она тебя, а не какого дурного человека полюбила; с другим пропала бы навеки веков. Да и ты её, сердечную, сбил было с прямого пути; знаю все. Ох, грех так поступать!

– Дядюшка! – отозвался было Василь.

– Молчи, племянник, ты расскажешь после. Такое-то дитя нам дал милосердый Бог. Хотя я и отец ей, а не могу против правды говорить. Что ж мы называемся за родители, чтоб не пеклись о счастье своего дитяти? Я ж говорю, если бы она была и сядь и так, ну так бы и быть. А за её доброту, за её скромность, покорность нужно ей такого мужа, который был бы ей как отец; чтобы он любил её, берег; чтоб – не дай бог! – если бы и случилось какое худо делом ли, или мыслию, – так он бы её отводил, учил бы всему доброму, не допускал бы кому зря обижать её; а скромную и смиренную, как она, кто захочет, тот и обидит. Чем нас Бог в сем свете благословил, имуществом ли или скотом, все бы тут осталось зятю, потому что я хочу, когда Бог благословит, зятя принять к себе. Так это уже не чье, как мое дело, смотреть крепко, чтобы он был хозяин рачительный, чтобы хотя уже не растратил и не перевел, что примет от нас, и чтоб и её не довел бы ни до какой нужды; а когда Бог благословит деточками, так чтоб и их через науку довести до пути и кое-что и им оставить. Теперь скажи мне, Василь, не правду ли я говорю?

– Правду, пан отче, святую правду говорите вы. Когда б ваша милость, чтоб наградили меня Марусею, я бы все то исполнил, что вы теперь рассказали.

– Не можно, Василь, не будешь ты ей таким мужем и хозяином, как желаешь, потому что это не от тебя. Когда ж я знаю, что сему не можно быть, и вижу свою Марусю, что, полюбивши тебя, совсем разум погубила – она теперь рада за тобою хоть на край света; ещё Господь не совсем её оставил, а то думаю... – сохрани Мати Божия! – даже вскрикнул Наум и перекрестился, – вот потому-то прошу тебя ласкою, да и приказываю, как отец своего дитяти: оставь её, забудь, не ходи к нам и не знай её, хоть бы она тебе где и повстречалась. Не погубляй её и

души ее, да и нас не кидай живых в могилу, – прошу тебя об этом... (Сказал и горько заплакал.) Дай нам спокойно веку дожить и не приводи нас отвечать за нее на том свете.

– Да отчего же вы, Наум Алексеевич, думаете, что я не буду ей добрым мужем и хорошим хозяином?

– Ты же мне рассказывал про себя. Ты сирота; у твоих дядей по два, по три сына, и ты с ними в одной сказке¹¹⁷. Сказка ваша девятидушная; дети дядей молоды, и как придет набор, наверно, лоб забреют тебе, потому что ты сирота, за тебя некому вступить, и дядья скажут: мы тебя поили, кормили, одевали и до ума довели, служи за нашу очередь. А что тогда станет с Марусею? Ни замужняя, ни вдова. Где ей за полками таскаться! А молодо, глупо; попадется негодным людям, наведут на все злое. Имущество растаскают, отнимут – кто ее защитит? Деточки без присмотра, в бедности, в нищете, без науки, без всего – помрут или, еще хуже, бездельниками стану т. А она затем состареется, немощи одолеют, бедность, калечество... только что в богадельню, к нищим! (Сказал это и заплакал, как дитя.) Не приведи, Господи, и врагу нашему такой судьбы! Так вот, Василь! Как бы я тебя ни любил (а скажу по правде: так я тебя полюбил, так мне тебя жаль, как родного сына!), а не хочу погубить своей дочки, и такой, как наша Маруся. Теперь сам хорошо видишь, почему не могу тебя зятем принять.

Долго Василь, опустивши голову, думал, думал, а после даже повеселел, да и говорит:

– А если я найму за себя наемщика?

– Наемщика? – подумал Наум, а после и говорит: – А из чего же ты наймешь, когда получаешь от хозяина только восемьдесят рублей в год; а ведь отцовских денег не осталось?

– Дядья помогут.

– Не надейся на это, Василь. Помогут, да не тебе, а себе. К чему придет, а тебе лоб за тебя забреют, а наемщик пойдет после за дядиных детей. Рад бы и я тебе помочь, так все не то. Как будут знать, что у тебя жена богатая, то так станут с тебя тянуть, что только держись! И все к концу не доведут, а все будут оставлять, чтобы было за что уцепиться. Когда бы ты сам, своими деньгами, мог нанять, так бы так! Василь! Вот тебе образ Царя Небесного и его Матери Пречистой и Николая святого, принеси бумагу, что наемщик принят за самого тебя и за твои деньги: тогда тебе тотчас обеими руками Марусю отдам.

Выслушав это, как ударит себя Василь руками в грудь, как кинется на стол, как заплачет! А потом, сказавши: «Всею коней!» – бросился к Науму на шею, обнял его крепко и сказал:

– Прощай, мой?.. Когда тебе хоть немного жаль бедного Василя, будь ласков, будь жалостлив, покличь сюда Марусю, пусть я при тебе прошусь с нею!

– Хорошо, Василь, – сказал Наум, – да смотри же, попрощайся! Понимаешь ли?

– Все понимаю и все исполню, как мне приказываете. Вот вошла Маруся, а за нею и Настя. Василь, взявши Марусю за руку, говорит:

– Правду, великую правду сказал мне твой отец. Должно нам... разлучиться!

– И навек? – с большим трудом могла спросить его Маруся.

– Увидимся... Будешь ты моею, если не на сем свете, так на том! Прощай, моя Ма... – и не договорил, как она обмерла и упала к нему на руки. Он прижал ее к сердцу крепко, поцеловал, бесчувственную ее отдал отцу на руки, поцеловал руку ему и Насте... и скоро, скоро пошел, не оглядываясь...

Не станем рассказывать, как долго и как крепко Маруся о нем тужила. Едва, едва, сердечная, с тоски не умерла. Сколько уже отец с матерью ее ни успокаивали – все ничего; а тем еще пуще, что не знала она, зачем и куда Василь ее скрылся и надолго ли? Воротится ли и когда-то это еще будет? Спрашивала не раз и отца; что ж? – «Не знаю, да и не знаю». Да и точно он не знал, с какими мыслями и куда он скрылся.

¹¹⁷ Сказка — ревизская сказка, список лиц, подлежащих обложению подушным налогом и отбыванию рекрутской повинности. Такие списки составлялись во время ревизий. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Всякий божий день переберет те орехи, что еще на свадьбе, как повиделася с Василем впервые, и он ей дал, переберет, перецелует да и опять к сердцу положит. Или, когда в праздничный день пойдет в бор к озерам, где с ним гуляла один раз, там посидит, поплачет и с тем воротится домой. Мать не принуждала ее работать и прибирать; сама бралась за все.

– Не так, – говорит, – моему сердечку тяжело, как я что-нибудь работаю.

С подругами никогда не играла и уже вовсе к ним и не выходила.

Отработались в поле; от Семенова дня (1 сентября) стали работать с вечера. Маруся принялась прясть, а от Покрова¹¹⁸ начала досвета вставать к работе: прядет, шьет, прибирает, а все тужит, и частенько, как заберется куда-нибудь сама себе, то плачет, плачет, так что – Господи! – потому что об Василе не было ни слуху, ни весточки, как в воду упал.

Вот и Филиппов пост¹¹⁹; вот и Аннино зачатие¹²⁰ (9 декабря) – зачали, по обычаю, парубки засылать к девкам старост. Знай, люди бродят по улицам с палочками в руках. То смотри: идут двое, перевязаны рушниками, бодрятся, выхваляются, вот там-то и там, такую-то за такого-то просватали. А иные старосты украдкою под плетнями, свиною дорожкой, тихомолком идут себе и под плечом, вместо хлеба святого, несут... тыкву! Эге, негде деваться: чего достойны, то и получили.

Не одни старосты приходили и к старому Науму Дроту сватать Марусю. Так что ж:

– Татонку мой родненький! Я им, – говорит, – поднесу по чарке горелки.

Старик было вскрикнет на нее:

– Разве ты с ума сошла? Почему ты не идешь? Люди хорошие, честного роду, парень бойкий. Или тебе поповича или купца надо?

– Василя! А когда не Василя, то и никого! – скажет было Маруся. Мать в слезы; а отец было даже рассердится, да и крикнет:

– Да где твоего Василя возьмем? Теперь ты людьми пренебрегаешь, а там станут и тебя пренебрегать, да и досидишься до седой косы.

– Нужды нет, таточку! Без Василя не страшна мне и могила, не то седая коса.

Только вздвигнет плечами Наум, подумает:

«Пускай еще до того года!» – да и замолчит. И ему грустно было, что об Василе не было никакого слуху, потому что он его очень любил и все надеялся, что он с собою устроит что-нибудь до пути.

Вот прошел и месяц, и везде прошла слава, что Маруся Дротивна и гордая, и пышная; за здешних парубков не хочет, а ждет себе паныча из-за моря. Она про такую славу знала, смеялась и говорит было:

– Нужды нет, и подожду.

Парубкам же, хотя и крепко досадно было, что такая красивая и богатая девка не дается в лад, да нечего было делать: силою не возьмешь.

Прошел и пост; отговелись¹²¹ и – слава тебе, Господи! – дождались Воскресения. Маруся в Великую субботу сама заквасила тесто на паску, положила туда яиц, инбирю¹²², бобков¹²³, шафрану, и выпеклася паска и высокая, и желтая, и еще в печи зарумянилась. Приготовивши все, что должно было, на самый Великий день поутру, с батраками понесла к церкви на посвящение паску, барашка жареного, поросенка, колбасу, крашенных яиц десятков, сало и кусок

¹¹⁸ Покрова – праздник Покрова Божией Матери (14 октября). (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹¹⁹ Филиппов пост – Рождественский пост. Соблюдался в разные числа с конца ноября до начала января. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²⁰ Аннино зачатие – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы (отмечалось 9 (22) декабря). (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²¹ Отговеться, разговеться — поест после поста, разрешить себе скоромную пищу. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²² Инбирь – растение, особенно его пряный корень. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²³ Бобки – стручки разных растений. (Прим. Л. Г. Фризмана)

соли и, разостлавши на монастыре в ряду с другими скатерку, разложила все порядком, как ее научила мать, потому что Настя после болезни не пошла со двора. Наум же стал в церкви Божией и молится.

Когда Наум приходил в церковь молиться, то уже в самом деле молился, а не зевал по сторонам, не рассматривал сюда и туда, а стоял, как и должно, как будто перед самим Господом, Царем Небесным, и только слушал, что читают и поют. А сегодня, в такой великий праздник, он еще усерднее молился и на сердце так ему было весело, как и всякому богобоязливому, кого приведет Бог дожидаться сего Великого дня!

Вот, как он стоит и молится, службу Божию поют; вышел на средину церкви читать Апостол... и кто ж?.. Василь! Наум смотрит и сам себе не верит: он ли это или не он? Рассмотрел хорошенько – так, это точно ой! Да он же вовсе не грамотен? Как же он будет читать? Может, на память, без книжки; может, вытвердил наизусть? Посмотрим!

Вот Василь уже и Павла чтение¹²⁴ сказал, да и начал... Да что за голос важный! Чистый, громкий, полубас, да понятный!.. Вот Наум и думает:

«Видел я слепорожденного, что читал псалтырь¹²⁵ так же, без книги; а Василь так смотрит в книгу... Уж не хвастает ли? Может, на память от дьяка выучил, да будто и грамотный! Так вот же зацепился было за титул¹²⁶, да и разобрал понемногу... вот и дочитал без ошибки; вот и аллилуйя¹²⁷ по закладкам отыскал... Нет! Как бы не грамотный, то не сумел бы Апостол, да еще и на самый Великдень, прочитать».

Прислушивается Наум – Василь поет. Как же начал Херувимскую¹²⁸, так такую, что и сам дьяк не умел в лад взять; а Василь, без запинки, так все голоса и покрывает, и Переводы выводит, сам и кончает, сам опять и начинается. Тогда уже Наум совсем положился, что Василь стал грамотным.

«Да когда же выучился и где пребывал? Пускай, – думает себе, – после узнаю».

Как вышел священник с крестами святить паски и народ бросился из церкви, Наум остановил Василя да тотчас и говорит:

– Христос воскрес!

Вот, похристосовавшись с ним, как долг велит, и говорит ему Наум:

– Еще ты, Василь, нас не забыл?

– Пусть меня Бог забудет, если...

– Хорошо же, хорошо, сын! Теперь не до того. Приходи к нам разговеться; да хоть и пообедаешь, когда не пойдешь домой...

– Вы мне и дом, вы и родители...

– Хорошо же, хорошо. Приходи, не забудь; я буду ожидать. Сказавши это, Наум поспешил домой и дорогою думает себе:

«Не очень же я хорошо сделал, что, не расспросивши Василя, что он и что с ним, да и позвал его к себе. Может, он уже об Марусе и не думает, а может, и женат уже, а я только потревожу Марусю и снова раздражу тоску ее. Да хотя бы и не то, так, может, еще он не откупился от рекрутства, так что тогда делать? Да уже ж! Повижу. Даст Бог разговеться, а там буду поправлять, что напортил с радости, неожиданно увидев Василя, да еще и грамотного! Откуда ему Бог такую благодать послал? Правда: малой разумный, ему бы только дьячком быть».

С такой мыслию пришел домой и жене не говорит ничего, что кого он видел. Пришла и Маруся, и принесла все посвященное, и нужды нет! Потому что она, как не стояла в церкви, а

¹²⁴ Павла чтение – чтение Послания к Галатам святого апостола Павла. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²⁵ Псалтырь – собрание псалмов. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²⁶ Титул – заголовок, название книги. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²⁷ Аллилуйя – хвала Господу. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹²⁸ Херувимская песнь – церковная песнь, начинающаяся словами «Иже херувимы». (Прим. Л. Г. Фризмана)

при пасках, то и не видала Василя. Расставила все на столе, как должно, и приготовила, да и удивляется с матерью, что отец не садится разгавливаться, а ходит себе по хате да думает.

Как вот дверь – скрип! – и Василь в хату. Маруся так и не опомнилась, и крикнула не своим голосом:

– Ах, мой Василечку! – да и стала как вкопанная. Старая Настя тоже обрадовалась, как бог знает чему, и кинулась к Василию и похристосовалась. Вот Наум видит, что Василь с Марусею стоят и только поглядывают – он на нее, а она на него, как будто впервые отроду видятся; вот он и говорит им:

– Что же вы не христосуетесь? А Василь и говорит:

– Не смею, пан отче!

– Зачем не смей? – говорит Наум. – Закон повелевает христосоваться с каждым и хотя бы со смертельным врагом. Похристосуйтесь же по закону трижды, да Боже вас сохрани от всякой нечистой мысли! Тяжкий грех в таком святом деле думать лукавое!

Вот и похристосовались как должно.

Маруся бросилась было к нему с расспросами:

– Где это ты, Василечку, был?..

– Знай же время, – прервал ее Наум, – одно что-нибудь – или разгавливаться, или говорить. Бог дал праздник и паску освященную. Благодаря Бога милосердного, надо разрешать без всяких хлопот и с веселою душою, а говорить будем после. Садитесь-ка, Господи, благослови!

Старая Настя села за столом на лавке, а Маруся подле нее с конца, чтоб ближе подавать. Василь сел на скамье, старик в переднем углу, батраки в конце стола. Вот Наум, перекрестившись и прочитав три раза «Христос воскрес из мертвых», тотчас отрезал освященной паски и перед каждым положил по куску. Вкусив ее осторожно, чтоб не рассыпать крошек под стол, всяк перекрестился и сказал:

– Благодарю Бога милосердного! Дай, Боже, и на тот год дожждаться. Тут уже принялись за жареное: ели барашка, поросенка; а костей под стол не кидали, а клали на стол, чтоб после покидать в печь¹²⁹. Потом ели колбасу, сало, нарезанное кусочками, и крашенных яиц, начистив, порезали на тарелке. Кончивши все это, Маруся все прибрала, и со стола тоже все бережно смела, и все крошки, кости и скорлупы бросила в печь, да тогда уже стала подавать блюда на стол.

Старый Наум выпил чарку горелки перед обедом, а Василь не пил, потому что, говорит, не начинал ее еще пить. Вот и подали борщ, и потом говядину из него порезали на деревянной тарелке, посолили, да и ели – уже известно, что не по-господски, потому что вилок не водится, а пальцами. Потом подали уху с рубцами; жаркое было баранина, а там молочная каша, да и полно, – больше и ничего.

Маруся вряд ли что и ела; ей лучше всякого разгавливанья, кроме праздника святого, то, что Василь возвратился, и жив, и здоров. Наклонясь за мать, чтобы не видал отец, как смотрела на своего Василечка, а сама будто ложкою берет из миски, лишь бы показать, что будто ест. Куда уже ей есть! У нее одно на мысли, как и у Василя! Так тот уже через силу ел, потому что подле Наума сидел и не можно ему было схитрить, чтоб хорошенько посмотреть на свою Марусю.

Пообедавши и поблагодаривши Бога и отца с матерью, когда прибрала все Маруся, вот Наум и говорит:

– А у нас новый дьяк сегодня читал Апостол. Настя тотчас и спрашивает:

– А кто такой и откуда?

– Вот он, пан Василь, – сказал Наум да и усмехнулся.

¹²⁹ Чтобы не съела собака или другое животное. Благословенное к разрешению простой народ почитает за святыню, и потому с остатками так поступает осторожно. Перевод. (Прим. автора.)

– Разве ж Василь грамотный, чтоб ему Апостол читать? – спросила Настя. А Маруся так уши и приготовила, чтобы слышать все, что будут говорить.

– Был неграмотный, а теперь ему Бог разум послал; а как и что? А и сам не знаю. Расскажи мне, сделай милость, Василь, как это тебе свет открылся? Это мне на удивление! Еще и году нет, как ты пошел от нас, а научился грамоте, и умеешь петь, как и сам дяк. Где ты побывал?

– Я, дядюшка, не был очень далеко, – начал рассказывать Василь. – Вот как вы мне открыли свет и растолковали мне, что и я пропаду и чужой век заем, когда не сыщу за себя наемщика, то я думал, думал и чуть с ума не сошел. Правду вы говорили, какие деньги – восемьдесят рублей, которые я от хозяина получал! Только что на одежду. Что ж мне тут было делать? Как-то Бог послал на мысль: пойди к купцам, у них хороший заработок. Пришел я к торговцу железным товаром – он меня знал отчасти, – рассказал ему всю свою беду. Он, подумавши, принял меня за пятьдесят рублей на год с тем, что когда буду в своем деле исправен, то он мне и больше прибавит и все будет прибавлять, по мере моего старания. Я обрадовался, узнав, что, дабы выработать, ничего более не нужно, как только быть честным и свое дело исправлять, не ленясь. С товарищами, хоть и все москали были, тотчас поладил. Только вижу, что они все грамотные, и кто больше чего знает, больше получает и жалованья. Вот как сел, как сел – и правду вам, дядюшка, скажу, что ночь и день учился, и Бог послал мне дарование: и то-таки правду сказать, что нашего брата наткни хоть в науку, хоть в какое ремесло, то с него путь будет – не пропадут за него деньги. Вот-то я от Спасовки¹³⁰ да до Рождества выучился читать церковное и гражданское: писать мало умею; цифры знаю и на счетах, хоть тысяч десять пудов, враздробь на фунты безошибочно положу; фурщиков рассчитаю, и хозяйского добра берегу, как глаза, чтоб и копейка даром нигде не тратилась. Товарищи, знаете, охотники на клиросе петь вместо певческой; вот и меня, как заметили, что голос есть, то и приучили немного. Пока себя не поставил на путь, не шел к вам, дядюшка; и как ни тяжело мне было, не видевши Маруси, но помня ваше слово, сам себя морил и не ходил сюда. И тоже-таки, что хозяин, узнав мою честность, посылал меня не за великими делами по маленьким ярмаркам; а после Крещения посылал уже и дальше; и я только что перед праздником вот это привез ему большую сумму денег. Как же он меня потешил добрым словом и разбил мою тоску, то я уже смело и пришел сюда на праздник; а чтобы вы уверились, что я не разбездельничался, вот и стал я на клиросе петь и Апостол прочитал.

Наум, выслушав его, не вытерпел и даже поцеловал его в голову, подумав:

«Вот милой парень! Недаром его люблю; такой не пропадет!»

Потом и спросил:

– Сколько же ты теперь получаешь жалованья?

– Жалованье не делает мне счету, – говорит Василь, – лишь бы стало на одежду; а то важнее всего, что хозяин, зная мою нужду, чего я боюсь и отчего вы не отдаете за меня Маруси, сам хлопочет обо мне; теперь посылает меня с фуром в Одессу, а оттуда пойду в Москву и на заводы, и только что к Успению ворочуся сюда; а он мне сыщет наемщика, говорит, хоть пятьсот рублей потеряю; осенью, как скажут набор, сам и отдаст, а деньги, говорит, будешь отслуживать.

– Пускай тебе Бог помогает! – сказал Наум, а потом, подумавши, и говорит: – Чего же больше думать? Послезавтра, во вторник, присылай людей за рушниками. И тебе в дороге будет веселее, и Маруся тут не будет грустить. Теперь нечего бояться. Это уже верно, что ты наемщика поставишь. Даст бог воротишься, осенью и свадьба.

Не можно и рассказать, как обрадовались Василь и Маруся! Тотчас бросились к ногам отца, целуют их и руки ему целуют; сами обнимутся и снова к нему кинутся, и благодарят его; то к матери, то опять к нему; и не помнят себя, и что делать, не знают.

¹³⁰ *Спасовка* — народное название Успенского поста, начинающегося с Медового Спаса. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Долго смотрел на них Наум да все тихонько смеется и думает:

«То-то дети!»

После и говорит:

– Полно же, полно! Пустите же меня! Мы со старухой ляжем спать, потому что я всю ночь слушал Деяния¹³¹ и стоял, пока дочитались до Христа; а вы, хотите, дома сидите или гулять идите к качелям, да только сами не качайтесь, потому что грех для такого праздника заниматься такою глупостью.

Как уже у Василя с Марусею в тот день было, нам нужды мало; потому что известно, ходили ли или сидели, а все об одном говорили: как один по другом скучал; когда, что и как думал; как недуманно-негаданно они увиделись; как еще радость будет, как уже сговорят их; вот такое все говорили, да ласкались, да миловались.

Вот же и вторник настал, и к вечеру начали ожидать старост: прибрали хату, затеплили свечу перед образами, старики приубрались, как долг велит, а что Маруся разделася, так уже нечего и говорить. Вот постучали раз, в другой, в третий, и вошли старосты, подали хлеб, и старосты говорили законные речи про куницу, как и прежде сего было.

Вот Наум с притворною досадою и говорит:

– Да что это за напасть такая? Жена! Что будем делать? Дочка! А иди-ка сюда на совет!

Маруся, вышедши из комнаты, застыдилась – Господи! – покраснела, что твой мак, и, не поклонившись, прямо стала подле печи и начала ее ковырять пальцем¹³².

Вот Наум и говорит:

– Видите, ловцы-молодцы, что вы наделали? Меня с женой смутили, дочь пристыдили до того, что скоро печь совсем повалит: видно, не думает тут больше жить. Гай, гай! Так вот что мы сделаем: хлеб святой принимаем, доброго слова не отвергаем; а чтобы вы нас не порочили, что мы передерживаем куницы да красные девицы, так мы вас свяжем и тогда все доброе вам скажем. Дочка! Пришла и моя очередь ладно сказать: полно уж тебе печь колупать, а нет ли чем этих ловцов-молодцов связать.

Еще не время было Марусе послушать, так она все ковыряет. Вот уже мать говорит ей:

– Слышишь ли ты, Маруся, что отец говорит? Иди же, иди, да давай чем людей связать. Или, может, ничего не припасла, так от стыда печь колупаешь? Не умела матери слушать, не училась прясть, не выработала рушников, так вяжи хоть валом, когда и тот еще есть.

Пошла Маруся в комнату и вынесла на деревянной тарелке два рушника длинных, да искусно вышитых и крест-накрест сложенных, и положила на хлебе святом, а сама стала перед образом, да и положила три поклона, после поклонилась три раза отцу в ноги и поцеловала руку, а там и матери тоже; и взявши рушники, поднесла на тарелке прежде старшему старосте, а там и другому. Они, вставши, тоже поклонились, взяли рушники и говорят:

– Спасибо отцу и матери, что свое дитя рано будили и доброму делу учили. Спасибо и девушке, что рано вставала, тонко пряла и хорошенькие рушники придбала.

Повязавши себе один другому рушники, вот староста и говорит:

– Делайте же дело с концом, разведывайтесь¹³³ с князем-молодцом. Мы приведены, мы не так виноваты; вяжите приводца¹³⁴, чтоб не ушел из хаты.

Вот мать и говорит:

¹³¹ Деяния — т. е. Деяния св. Апостолов. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹³² В знак согласия идти за предлагаемого жениха. (Прим. автора.)

¹³³ Разведывайтесь — разбирайтесь, осведомляйтесь. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹³⁴ Приводец — тот, кто привел. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– А ну, доня! Ты же мне говорила, что затем по пятницам работала¹³⁵, чтоб шелковый платок придбать да им напраслину связать. Теперь на тебя напраслина напала, что не всех ты связала.

Вынесла Маруся вместо обыкновенного бумажного шелковый платок, красный да хороший, как сама. Наум ей и говорит:

– Этому, дочка, сама прицепи и за пояс платок заткни, да к себе притяни, да слушай его, да шануй (почитай), а теперь его и поцелуй.

Вот они и поцеловались, а Василь выкинул Марусе на тарелку целкового.

После этого староста сговоренным велел, чтобы кланялись прежде отцу в ноги три раза; а как поклонились в третий раз, да и лежат, а отец им и говорит:

– Смотри же, зять! Жену свою бей поутру и ввечеру, и вставая, и ложась, и за дело, и без дела и ссорься с нею каждый час. Не делай ей ни белья, ни платья; дома не сиди, таскайся по шинкам, да по чужим женам; то с женою и с детками скоро пойдете в нищие. А ты, дочка, мужу не спускай и ни в чем ему не уважай; когда дурак будет, да поедет в поле работать, а ты иди в шинок, пропивай последний кусок. Пей, гуляй, а он пускай голодует; да и в печи никогда не хлопочи; пускай паутиной заснуется печь; вот вам и вся речь. Вы не маленькие сами, сами разум маете (имеете), и что я вам говорю, и как вам жить, знаете.

А староста и крикнул:

– За такую науку целуйте, дети, отца в руку.

Поцеловавши, кланялись и матери также три раза. Мать не говорила им ничего; ей закон велит, благословляя детей, только плакать. После этого староста сел и сказал три раза:

– Христос воскрес! – а старики ему в ответ, также три раза:

– Воистину воскрес! Старосты говорят:

– Панове сватове! – а они отвечают:

– А мы рады слушать. Старосты говорят:

– Что вы желали, то мы сделали; а за эти речи дайте нам горелки гречи (славной), – а старики отвечают:

– Просим милости на хлеб, на соль и на сватанье.

После сего и посадили сговоренных, как обыкновенно, на посад¹³⁶, в передний угол. Отец сел подле зятя, а мать, известно, управлялась сама и блюда на стол подавала, потому что уже Марусе не должно было с посаду вставать. Старосты сели на скамейке, подле стола.

Покуда мать блюда носила, отец стал потчивать горелкою старост. Первый староста отведал, повертел головой, поцмокал, да и говорит:

– Что это, сватушка-панушка, за напиток? Сколько мы по свету ни езжали, а таких напитков и не слышали, и не видали, и не пивали!

– Это мы такое для любезных сватов из-за моря придбали, – говорит Наум и просит:

– Вот нуте-ка, всю выкушайте. Сверху хороша, а на дне самый лучший смак!

Выпил староста, поморщился, крикнул, да и говорит:

– От этого сразу покраснеешь, как мак. Смотрите-ка, сватушка-панушка, не напоили ли вы нас таким, что, может, и на стену полезем?

– Да что вы это на нас нападаете? – сказал Наум. – Тут таки, что славное само по себе, а то еще вот что: шла баба от ляхов да несла здоровья семь мехов, так мы у нее купили, семь золотых заплатили да в напиток пустили.

А староста и говорит:

¹³⁵ В пятницу работать почитается за грех, исключая на благочестивый предмет: на свечу, на подавание нищим, а также и на подарок будущему жениху. Перевод. (Прим. автора.)

¹³⁶ Посад – посадить на посад, т. е. как положено, следуя установленному порядку. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Ну, что мудрое, так уж в самом деле мудрое! А ну, товарищ, попробуй и ты, да и скажи: пили ли мы такое в Туретчине или хоть и в Неметчине, да и в Рассеи не пивали сиеи.

Выпил и другой староста, так же прицмокивая, и тоже приговаривал, похваляючи.

Проговоривши все законные речи, стали потчиваться просто, со своими приговорками, а потом, только что стали ужинать, как отозвались девушки, коих Маруся еще днем просила прийти к ней на сговор, и, входя в хату, пели приличную песню.

Окончив песню, поклонились да и говорят:

– Дай Боже вам вечер добрый и помощи вам на все доброе!

Старая Настя, такая радехонькая, что привел ее бог дожидаться одним-одну дочечку про-сватать за хорошего человека, да еще и любимого ею, земли под собою не слышит, управляется проворно, – и где взялась у нее сила, даже бегают от стола к печи, и миски сама носит, и порядок дает – бросилась тотчас к девушкам-друзкам и говорит:

– Спасибо вам! Просим на хлеб, на соль и на сватание.

Да и усадила их по чину, от Маруси по всей лавке¹³⁷ да и говорит:

– Садитесь, дружечки, мои голубочки! Да без стыда брусуйте (кушайте), а ты, староста, им батуй (нарезывай)!

Так девкам же не до еды: одно то, что стыдно при людях есть, чтобы не сказали люди: вот голодная! Видно, дома нечего есть, так бегают по чужим людям, да и поживляется; вон видишь, как рот запихает! А другое и то, что надо свое дело исполнить – петь приличные песни. Вот они их и пели.

Как же развеселился Наум! Давай музыку да и давай! Негде деваться, побежала проворнейшая из всех девок, вот таки Домаха Третьякивна, к скрипнику и призвала его. Батюшки! Поднялись танцы, да скоки, так что ну! Набралась полная хата людей, как слышали, что старый Дрот да сговорил свою дочку. То еще мало, что в хате, а то и около окон много было: так и заглядывают; а подле хаты девки с парубками танцуют, девушки ножками выбивают, парубки вприсядку танцуют, отец с матерью знай людей потчуют... Такая гульня была, что укрой боже! Чут ли не до света гуляли. Только Василь да Маруся никого не видали и удивлялись, что так скоро народ разошелся. За ласканьем да милованьем не заметили, как и ночь прошла.

Не дай бог человеку печали или какой напасти, то время идет не идет, словно рак ползет; как же в ра дости, то и не заметишь, как оно пробежит, как ласточка проплывет. Думаешь, один день прошел, ан гляди, уже и недели нет. Так было с Василем и с Марусею: все вместе да вместе, как голубь с голубкою. И в город, и на рынок, и под качели, и на огород все вместе себе ходят. И в монастырь на богомолье вместе ходили, и молебен пели, что обещалась Маруся, когда будет помолвлена за Василя.

Как бы то ни было, вот и проводы (Фомин понедельник¹³⁸). В это время Василев хозяин высылает фуру, и Василю надо с кем выступать.

– Ох, нам лищечко! – сквозь слезы говорят обое, – мы же и не наговорились, мы и не насмотрелись один на одного!.. Как будто сегодня только сошлись!

– Не плачь, Василечку, – говорит ему Маруся, – в дороге и не заметишь, как и Спасов пост¹³⁹ наступит: тогда воротиться сюда и будем всегда вместе. Смотри только, чтоб ты был здоров; не скучай и не вдавайся в тоску без меня. А я, оставшись без тебя, утро и вечер буду обмываться слезами...

¹³⁷ И на сговорах, и на свадьбе, когда невеста усаживает девок-подружек, то старшую дружкой, подле невесты, должна быть посажена самая почетная девка и за нею все по расчету родства или знаменитости отцов. Посаженная, по ее мнению, не в приличном ей месте, выходит из-за стола, выговаривает, упрекает и ни за что уже не сядет. Между родителями начинается ссора, и долго не забывают сделанного посмеяния девке, униженной местом. Перевод. (Прим. автора.)

¹³⁸ Фомин понедельник — понедельник на второй неделе после Пасхи. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹³⁹ Спасов пост – Успенский пост (14–27 августа). (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Полно ж, полно, моя перепелочка! Не плачь, моя лебедочка! – говорит ей Василь, прижимая к сердцу. – Пускай я на чужой стороне один буду горе знать, а ты, оставшись тут, будь здорова и весела да дожидай меня. А чтоб нам отраднее было, так прошу тебя: как взойдет вечерняя звездочка, то ты вспоминай меня, глядя на нее; в ту пору я с фурую буду отдыхать, гляну на ту звездочку и буду знать, что и ты на нее смотришь, то мне отраднее будет, как будто посмотрю в твои глазки, что как звездочки блещут. Не плачь же, не плачь!..

Вот так-то они в последние часы разговаривали и обое плакали беспрестанно! А когда уже пришло время совсем прощаться, так что там было!.. Когда уже и старый Наум так и хлипает, как малое дитя; а мать, смотря на слезы да на скорбь Марусину, даже слегла; так уже про молодых что и говорить!.. При прощании выпросила Маруся у Василя сватанный платок, что на сговоре ему поднесла, затем, чтобы иногда в дороге не потерял, и что она на платок, как будто на Василя, будет смотреть. Чтобы успокоить ее, Василь отдал, а она в тот платок положила орехи, те еще, что с самого начала Василь дал ей на свадьбе, завязала да и положила к сердцу и говорит:

– Тут будет лежать, пока ты воротишься и сам возьмешь.

Сяк-так, Василь насилу вырвался от стариков, а Маруся пошла его провожать. То было на самые проводы (в Фомин понедельник), и надо было идти чрез кладбище, где на могилах в тот день все поминают своих покойников. Вот Маруся взяла кутью, чтобы и своих помянуть. Положила вареную курицу, три связки бубликов, булку, два пирога да сверху пятикопеечный пряник; да взяла материн мешочек с деньгами, чтоб нищим раздать, а Василь с нею также нес в платке три десятка крашеных яиц.

Пришли на могилы, как пан отец священник уже и там и собирается служить панихиду. Маруся поставила к куче и свою кутью и поминальную грамотку батюшке подала, чтоб помянуть и ее родственников.

Смутная и невеселая Маруся все молилася и знай клала поклоны; как же запели дьячки: «Ни печали, ни воздыхания», так она так и зарыдала и говорит:

– Как ты воротишься, Василечку, то, может, на этом кладбище будешь меня поминать.

Василь даже вздрогнул от этих слов и хотел ее остановить, чтоб и мысль такую выкинуть из головы, так и у самого слезы невольно так и льются, а на сердце такая грусть упала, что дух ему захватывает! И сам не знает, отчего ему это так стало.

Отслужили панихиду, подала Маруся кутью пану отцу, а старцев божиих обделила крашеными яйцами и деньгами за Царство Небесное померших. Сели люди на могилах трапезовать и поминать родственников, а Марусе уже не до того, потому что Василь через силу едва проговорил, что уже пора ему идти к хозяину.

Батюшки! Как зарывает Маруся! Да так и повисла ему на шею! Выцеловала его... что-то? И в глаза, и в лоб, и в щеки, и в шею... После, как будто кто ее наставил, разом оставила его, глазки засверкали... То была бледна, а тут зарумянилась; да так громко, как бы не она, сказала Василю без запинки:

– Василь! На кладбище меня оставляешь, на кладбище меня и найдешь... Благодарю тебя за любовь... Чрез нее я узнала счастье на земле. Поминай меня; не вдавайся в тугу... Прощай на веки вечные!.. Там увидимся!..

Это сказавши, не озираясь уже, пошла домой скоро, так легко ступая, как будто и к земле не дотрагивалась. А Василь? Его как гром поразил!..

Стоит как вкопанный... Потом горестно вздохнул, поднял глаза к Богу, перекрестился, положил поклон и, припавши на то место, где стояла Маруся, целовал землю вместо нее, боясь удерживать и самую мысль о том, что сказала ему Маруся, а после проговорил:

– Господи милосердый! Пусть я один все беды претерплю, пусть я умру, только помилуй Марусю! Дай нам пожить на этом свете... но в том да будет воля твоя святая! – Да и пошел тихим шагом к хозяину.

Давно ли наша Маруся была веселенькая, как весенняя заря, говорлива, как воробушек, проворна и игрива, как ласточка, – а теперь точнехонько как в воду опущена. Говорить, мало и говорит; сядет шить, да стегнула ли иголкой или нет, вывела ли нитку или нет, тотчас и задумается, и ручки сложит; пойдет в огород полоть, станет над грядкою, да хоть целый день будет стоять, ничего не сработает, пока мать ее не позовет; приставит обед, то либо в нетопленную печь, или забудет чего положить, либо все у нее перекипит, что и есть не можно; да до того довела, что – нечего делать! – взялася мать сама хлопотать. Часто ворчал на нее отец и ласково уговаривал, чтоб не тужила, чтобы в грусть не вдавалась, что грусть истребит ее здоровье, что она от того зачахнет, занеможет, и какой ответ даст Богу, что наивеличайшую милость Божию, здоровье, не умела сберечь и погубила его.

Что же? Только и речей:

– Таточко, батечко! И ты, матинка родненькая! Что ж мне делать, когда не могу забыть своего горя! Не могу не думать об моем Василечку! Свет мне немил, и ничто не развеселяет. Сердце мое разрывается, глядя на вас, что вы обо мне так сокрушаетесь, да что же я буду делать! Я и сама своей тоске не рада... Только у меня и мысли: где-то теперь мой Василь? Знаю, что день, что час, он от меня все далее, вот меня скорбь и душит! Не тревожьте меня, не беспокойте меня, как будто вы ничего и не видите; и не развлекайте меня, мне как будто легче, как я говорю на свободе и что никто мне не мешает.

Старики, посоветовавшись между собою, дали ей волю: пускай, говорят, как себе знает, так с собою и делает. Наградил ее Бог разумом; она и богобоязлива и богомольна, так ее отец милосердный не оставит. Пусть поступает, как знает.

Еще с того дня, как проводила Василя, не надевала Маруся никакой ленты; как навязала на голову черный шелковый платок, так и пошло; все черный платок, да и полно! То охотница была по воскресеньям да по праздникам в церковь ходить, а теперь и в буднишний день, как услышит, что звонят, то скорее и идет в церковь. Всякий божий день любимое место, куда было ходит, все в бор к озерам, где с Василем в первый раз ходила; сядет там под сосенкою, развернет платок, что Василь ей оставил, смотрит на него, да свои орешки перебирает в руке, да и поплачет... Как же только начнет вечереть, она уже и сидит подле хаты на завалине и высматривает вечернюю звездочку... Покажется она... тут Маруся тотчас станет так весела, так весела, что не то что!

– Вон он, мой Василь! – сама с собою разговаривает. – Он смотрит на эту звездочку и знает, что и я смотрю!.. Вот так блестят и его глазки, как было бегу к нему навстречу...

И тут уже ее, хоть зови, не зови, хоть что хочешь делай, а она и с места не пойдет и глаз от звездочки не отведет, пока она совсем не зайдет; тогда, тяжело вздохнув, скажет:

– Прощай же, мой Василечку! Ночуй с богом да возвращайся скорее к своей бедной Марусе.

Вошедши же в хату, перецелует всякой орешек и платок раз сотню поцелует, да, сложивши все, прижмет к сердцу, да так и заночует; а уж и не говори, чтоб спала хорошо, как должно!

Сяк-так, то с грустью, то с тоскою, прожила Маруся до Спасова поста; а к Успению, говорил Василь, будет неотменно. Хоть и не совсем Маруся повеселела, да все-таки как будто стала понемногу оживать. Она и дома прибирает, она и с отцом в поле; вот уже и Наум, смотря на нее, что она стала рассеиваться, и сам стал веселее и думает: «Слава тебе, Господи! Еще только Спасовка наступила, а уже Маруся совсем не та; как вновь родилась: вот-вот Василь приедет. Тогда забуду всю беду, скорее сделаю свадьбу, да и пускай себе живут». Когда куда едет по хозяйству, то и дочь берет с собою, чтобы ее лучше развлечь. Когда ж она иногда останется дома, то, управившись, идет в бор за грибами, да-таки так сказать, что день за день, да стала опять и к работе проворна и во всяком деле прилежнее, и что день божий, то все веселее, все рассчитывает:

– Вот Успение недалеко, вот-вот Василь возвратится.

Раз в пост, на третий день после Преображения¹⁴⁰, отдавши обедать и прибавши все, пошла в бор за грибами и уже никуда больше, как к тем же озерам. Напала на место, где много грибов было, да такие славные; и хоть бродила в воде, де насобирала их полное ведро и еще лукошко. Она еще их собирала бы, но как пошел же дождь, да проливной как с ведра, да с холодным ветром; а она была в одном набойчатом¹⁴¹ корсете, и свиты не брала. Что ей тут на свете делать? И не говори, чтобы куда забежать да пересидеть дождь, потому что до села было далеконочко, а дождь так и поливает! Негде деваться – надо бежать домой. Шла, а где и подбегала, да пока пришла домой, так одно то, что устала, а другое, измокла ужасно, так вода с нее и течет; а озябла ж то так, что зуб с зубом не сведет, так и трясется.

С бедою пополам добежала до дому. А дома ж то: мать старенькая и все себе больная, не смогла подняться с постели и в печи затопить. Беда, да и полно, нашей Марусе! Нитки сухой на ней нет, а негде обсушиться; озябла как будто зимой, а негде обогреться. Влезла на печь, да как не на топлennую, так еще пуще озябла. Покрылась тулупом, ничего! Так лихорадка ее и бьет!

Пришел и Наум, управившись с батраками. Некому ему и ужинать дать, да и нечего. Прежде было рассердился, а после, как расслушал, что ему Настя, стоная, рассказывала, так и замолчал. После взглянул на Марусю да даже испугался! Господи! Твоя воля! Сама, как огонь, горяча, а ее трясет так, что и сказать не можно!

Зашемило сердце у нашего Наума! Подумал, подумал, да и стал Богу молиться. Это у него уже такое было правило: ежели хоть малая беда или радость ему какая, тотчас к Богу. Так и тут. Помолился, перекрестил три раза Марусю и лег себе. Прислушивается, чуть ли Маруся не заснула?

– Дай, Господи, чтоб заснула и чтобы завтра здорова была! Сказавши это, лег и заснул.

Только что в самую полночь будит его Настя, из всех сил толкает и говорит:

– Посмотри, Наум, что с Марусею делается? Стонет час от часу более... вот все крепче... даже кричит!..

Наум уже подле больной:

– Что тебе, Маруся! Чего ты стонешь?.. Что у тебя болит?..

– Таточко... Батечко!.. Ох... Не дайте пропасть... Колет... Ох, тяжело мне!.. Делайте, что знаете... ко... колет меня!..

– Где колет, Машечко?

– Вот... в бок... ох-ох!.. В левом боку... Помогите мне... Не вытерплю! Бросился Наум, высек огня, засветил свечу, и Настя уже встала; где-то и сила взялась! К Марусе... А она все больше стонет...

Что делать? И сами не знают. Сяк-так, старики вдвоем затопили печь, укутали Марусю шубами... Так кричит:

– Жарко! Не вылежу на печи... Положите меня на лавке... Ох, жарко мне!.. Ох, тяжело мне!.. Болит же бок... ох, болит!..

Скорее постлали на лавке. Взялись старики подводить Марусю... Она не сможет идти, старики не смогут ее вести... Тянутся, силятся, толкаются... Наум сердится, кричит на жену, что ему не помогает; Настя ворчит на него, что он дочку на одну ее клонит... Маруся стонет, плачет, а старики, глядя на нее, себе плачут.

Через превеликую силу дотащили Марусю, положили на лавке, укрыли рядом¹⁴², потому что ей все было жарко; а сами стали советовать, что с нею делать. Настя всё, чтобы бежать

¹⁴⁰ Преображение – Преображение Господне. Описанное в Евангелии преобразование Иисуса Христа перед тремя учениками во время молитвы на горе. Праздновалось 6 (19) августа.

¹⁴¹ Набойчатый – изготовленный путем набойки, набивки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁴² Рядно — толстый холст из конопляной или льняной пряжи. (Прим. Л. Г. Фризмана)

к знахарке, чтоб умыла, либо сказала; потому что это ей, может, сглаз; или пускай перепуг отнимает, или лихорадку отщепчет; пускай, что знает, то и делает. Так же Наум не то говорит, потому что он очень не любил ни знахарок, ни ворожей; что только они дураков обманывают, да с них денежки сдирают, а сами не могут никакого добра никому сделать, разве беду – так так! Вот он тотчас достал иорданской воды¹⁴³, да и велел Насте, чтоб тою водою натерла Марусе бок, где болит, и дал той же воды немного напиться, а сам подкуривал ее ладаном, помолился с Настею Богу... Как вот Маруся приутихла и стала как будто засыпать. Старики от радости уже хотели тушить огонь и сами ложиться... Как тут опять Маруся не своим голосом закричала:

– Ох, лишечко! Колет меня, колет в бок, печет... Ох, тяжело мне! Батиночко родненький! Матиночко моя, голубочко! Ратуйте (спасайте)!.. Помогите мне... Смерть моя... не дает... мне дышать!..

Видит Наум, что совсем беда, надо что-нибудь делать. Схватил шапку, побежал к соседке, разбудил, попросил ее, чтобы шла скорее на помощь к Насте; пока управился, пока довел ее до двора, как уже и светает. Не заходя домой, пошел в город. Был у него знакомый, приятель цирюльник, да еще Марусин и кум; она у него трех девочек крестила; так к нему-то он пошел советоваться, что надо делать; а когда можно, так чтоб и сам пришел да посмотрел на болящую.

Так-то старому скоро и дойти! Идет и, кажется, все на одном месте; станет поспешать, задыхается, ноги не служат, хоть совсем упасть. Жалеет Наум, что не разбудил кого из батраков, спавших на гумне, в соломе; так что ж? Хоть бы и скорее дошел, так не умел бы так всего рассказать; а как бы цирюльник не захотел идти, то батрак не умел бы его и упросить, как сам отец.

Солнышко поднялось, когда Наум добрел к цирюльнику. Пока его разбудили, потому что он был себе уже богат, а через коровью оспу¹⁴⁴ стал уже ходить в таком кафтане, как и господа; так надо туда же за господами долго утром спать. Вот, пока согрели ему самовар, пока он напился того чаю, закуривая трубкою, как наш исправник¹⁴⁵, пока-то, потягиваясь, вышел к Науму, так уже было довольно светло. Да уж за то спасибо, что, как расспросил, чем больна Маруся, так вдруг и собрался, схватил скорее что-то за пазуху, да взял склянку с чем-то, да и говорит:

– Наум Алексеевич! Худо дело, надо поспешать как можно. Не поскупись нанять извозчика. Мне ничего проходиться, да нужно поспешать.

Наум тотчас бросился, взял извозчика, и что есть духу поехали с цирюльником домой.

Как осмотрел цирюльник Марусю, так даже зацмокал. Стал ее расспрашивать, где и как у нее болит? Так она за кашлем и слова не скажет. Цирюльник покачал головою, да и говорит себе тихонько:

– Овва! Худо дело!

А Наум, это услышавши, да и руки опустил...

Бросился цирюльник и как можно поспешает, да и бросил ей кровь из руки, после развязал склянку, а там все пиявки, да и припустил их к боку. Пока то да это делалось, Наум так, что ни живой ни мертвой; то пойдет, то станет, то сядет, да все, вздыхая, руки ломает; а пуще то его смутило, что цирюльник был невесел. А Настя? Бедная Настя! Та и нужды нет. Она там около Маруси и помогает, и держит, и что надо делает, и так справляется, что как будто и не была больна. Так-то, великое горе и беда как постигнет, то уже меньшее и забудешь и не уважаешь его.

Управившись, цирюльник вышел в сени отдохнуть. Наум пристал к нему с расспросами.

– Худо дело! – сказал ему цирюльник. Наум так и бросился ему в ноги и плачет и говорит:

¹⁴³ Иорданская вода – т. е. святая, освященная. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁴⁴ Через коровью оспу – очевидно, путем заработка на имевшей место эпидемии. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁴⁵ Исправник – начальник полиции в уезде. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Приятель мой, Кондрат Иванович! Делай, что знаешь, только не погуби моего дитяти!.. Не положи меня живого в могилу!.. Век буду родным отцом звать! Бери у меня, что хочешь, бери все имение... Только спаси Марусю!..

Цирюльник даже заплакал и говорит:

– Друг мой, Наум Алексеевич! Разве же мне не жаль своей кумы! Что бы то я делал, чтобы вылечить крестную мать моих деток! Да как нет Божьей воли, так наш брат, хоть с десятью головами, ничего не сделает!

– Так моей Марусе не жить? – даже вскрикнул Наум.

– Один Бог знает, – сказал цирюльник да и пошел опять к больной. Посмотревши на нее и подержав за пульс долго, говорит:

– Молись, Алексеевич, Богу! Когда заснет, то не об чем и тужить. Вот тихонько все и отступили от нее, чтоб ей не мешать спать...

Так куда ж то! Только что как будто стала дремать, как поднимется кашель, да пресильнейший, так и подступает к груди и дышать ей, сердечной, не дает; а тут и в бок снова начало колоть.

Долго того рассказывать, как она три дня так страдала! Что цирюльник таки лечил, а то еще он и немца привозил; и тот и пластырь к боку прикладывал, и чего-то уже не делал... Так нет легче, да и нет! И что далее, то еще хуже было.

Наум давал им волю: что хотели, делали. А сам, запершись, все Богу молился, бросится на колена, руки ломает и, как положит поклон, да с полчаса лежит и все молится:

– Господи милосердый! Не осироти нас! Не отнимай от нас нашей радости! Лиши меня всего имущества, возьми меня, старого, немощного, возьми меня к себе...

Потом и прибавит:

– Но да будет воля твоя святая со мною, грешным! Ты все знаешь, ты и сделаешь все лучше, нежели мы, грешные, располагаем.

Приступит к немцу, просит, руки ему целует... Вынес шкатулку с деньгами, а в ней, может, было ста три рублевиков, и просит:

– Бери, говорит, сколько хочешь, все деньги возьми, все имение возьми; всего лишусь, в нищие пойду – только вылечи мое дитя: она у меня одинешенька... Без нее к чему и мне жить? Не будет мне никакой радости!.. Кто меня досмотрит?.. Кто?..

Да так и зарыдает.

Нужды нет, что немец, да и он заплакал, и хоть бы копеечку взял. В последний раз, как был и опять чего-то ни делал, а потом сказал:

– Ничего не можно сделать! С тем и поехал.

Молился Наум, молился – и как-то уже плакал! Так и обливается слезами. После вышел из комнаты, посмотрел на Марусю, видит, что она как та свеча догорает, перекрестился и в мысли говорит себе:

– Господи! Твоя воля святая! Прости нас, грешных, и научи, что нам творить и как тебе повиноваться!

Да с сим словом и пошел.

Идет и за слезами света не видит. Позвал священника; тот даже удивился, что такая здоровая девка, три дня как заболела, а уже и на Божией дороге.

Пока священник пришел со святынею, Наум воротился и, крепясь, чтоб не плакать, через великую силу говорит Марусе:

– Доню! Причастим тебя; не даст ли Бог скорее здоровья!

– Я этого хотела просить... да боялась вас потревожить... И уже здоровье!.. Разве спасения души... когда б только скорее!.. – едва могла это проговорить Маруся.

Бросилась Настя, прибрала хату и сени, а Наум затеплил свечу и ладаном покурил, как вот и батюшка пришел.

Пока Маруся исповедовалась, Наум с Настею и кто еще был из соседей вышли в сени. Вот Настя и говорит мужу:

– На что ты ее так потревожил? Она теперь подумает, что уже совсем умирает, когда призвали священника?

– Что же, старуха, будем делать? – тяжело вздохнувши, сказал Наум. – А каково ж было бы, как бы она умерла без покаяния?

– Да что же ты, старый, говоришь? Где ей еще умирать? Еще только сегодня четвертый день как порядочно занемогла.

– Але! Четвертый! У Бога все готово: его святая воля! То я еще скорее ее умру, нужды нет, что она уже на ладан дышит, – сказал Наум, да и отошел, горько заплакавши, и говорит себе тихонько:

– И когда б то Господь послал свою милость!.. Воля твоя, Господи! Задумалась и Настя, да и размышляет:

– Правду ли же то Наум говорит? Как-таки, ни горевши, ни болевши, да и умирать? Хоть бы недели две проболела, а то...

Тут кликнул священник, чтобы все вошли в хату, будет ее приобщать. Наум, сам чуть живой, еще смог подвести ее до Святого причастия... Маруся приняла тайны Христовы, как ангел Божий! Потом легла, перекрестилась, подвела глаза вверх и весело проговорила:

– Когда мне... такая радость здесь... после Святого причастия... что же будет в Царстве Небесном? Прими и меня, Господи, в Царство твое Святое!

Священник, посидевши и поговоривши из Писания, пошел домой.

Немного спустя, что у Маруси кашель как будто бы перестал, и она уже хотя и не стонет и будто бы спит, так в горле стало крепко хрипеть, а в груди как будто клокочет... Вот Настя и говорит старику:

– Да, ей-богу, она не умрет, видишь, ей легче стало.

– Молчи да молись Богу! – сказал ей Наум, а сам даже трясется. – Теперь, – говорит, – ангелы святые летают над нею. Страшный час тогда настает, как праведная душа кончается. Нам, грешным, надо только молиться Богу!

– Господи милостивый! Ты сам боишься, да и меня пугаешь, – так говорила Настя, не примечая своего несчастья, а Наум все хорошо видел и знал, что к чему и после чего что идет, да и говорит:

– Если б то Бог милосердый сотворил такое чудо!

Потом затеплил страстную свечу¹⁴⁶, поставил перед образами, а сам пошел в комнату... и что-то уже молился! Куда-то ни обещал идти на богомолье! Сколько имущества раздать на церкви, нищим...

Как вот Маруся довольно-таки громко проговорила:

– Таточко!.. Матинко!.. А подойдите ко мне...

Вот они и подошли. Наум видит, что Маруся совсем изменилась в лице: стала себе румяная, как заря перед восходом солнца; глаза, как звездочки, блестят; весела, и от нее как будто сияет. Он знал, к чему это приходит, вздрогнул весь, скрепил сердце, а слезы знай глотает да мыслию только так помолился:

– Час пришел!.. Господи! Не оставь меня!.. Маруся им и говорит:

– Батечко, матинко, мои родненькие! Простите меня, грешную!.. Попрощаемся на сем свете... пока Бог сведет нас вместе в своем царстве.

Тут стала им руки целовать; а они так и разливаются, плачут и ее целуют. Вот она и говорит им опять, да так приятно и с веселою улыбкою:

¹⁴⁶ *Страстная свеча* — свеча, которая горела во время вечерней церковной службы в т. н. Страстной четверг. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Благодарю вас, мои родненькие, что вы меня любили... и лелеяли... Простите меня; может, когда вас не послушала... или сердила... Мне Бог грехи простил... Простите и вы! Не печальтесь очень обо мне; это грех... Помяните мою грешную душу... Не жалейте имущества; все земля и пыль... Полно же, полно, не плачьте... Видите, как я весела!.. Там мне будет очень хорошо!.. Когда-нибудь надобно же было умереть... Мы недолго будем розно; там год, как часочек... Видите, я не жалею за вами, потому что скоро увидимся... Васи... ох! Василечка моего, когда увидите, скажите, чтоб не грустил... Скоро увидимся... Я его очень, очень любила!.. Орешки мои, когда умру, положите мне в руку, а платок... возвратите ему!.. А где вы? Я что-то вас не вижу... Таточко! Читай мне... громко молитвы... а ты, матинечка, крести меня... по... бла... госло... ви... те же ме... ня...

Наум стал читать молитвы, а Маруся силилася, но не смогла за ним и слова сказать. А он, что проговорит слово, то и зальется слезами! Переплачет и опять читает. Настя перекрестила ли раза два, да и изнемогла, и тут же упала. Соседка дала Марусе в руки свечу и уже насилу расправила пальцы, потому что окоченевала уже... Вот уже и дыхания ее не стало слышно... Наум поклонился, да над ухом ее громко читает: «Верую во единого Бога» да «Богородицу»... Как вот вдруг она, глядь глазами, да и сказала громко:

– Слышите ли вы?.. Что это такое?..

Наум упал на колена и говорит:

– Молитесь все! Ангелы прилетели за душою ее! Потом Маруся еще спросила:

– Видите ли вы? – да и замолчала... Вздохнула тяжело, проговорила: – Мати Божия!

Приими...

И успокоилася навеки!..

Наум вскочил, всплеснул руками, поднял глаза вверх и стоял так долго. Потом упал перед образом на колена и молился:

– Не оставь меня, Господи, отец милосердый, в эту тяжкую годину! Целый век ты меня миловал; а на старости, как мне надо было в землю ложиться, послал ты мне такое тяжкое горе! Укрепи меня, Господи!..

Бросился к Марусе, припал к ней, выцеловал ей руки, щеки, шею, лоб, все приговаривая:

– Прощай, моя донечка, утеха, радость моя!.. Увяла ты, как садовый цветочек, засохла, как былинка! Что я теперь без тебя остался? Сирота, пуще малого дитяти. Об дитяти жалеют, дитя присмотрят; а меня кто теперь приглянет?.. Теперь ты в новом свете, между ангелами святыми; знаешь, как мне тяжело, как мне горько без тебя; молись, чтоб и меня Бог к тебе взял... Закрываю твои глазочки до Страшного суда!.. Не увижу в них больше своей радости! Складываю твои ручки, которые меня кормили, прибирали, обнимали...

Он бы и долго около нее убивался, так тут соседка подошла и говорит:

– Пусти, дядюшка! Ты ее уже не подымеешь, а вот пришли девушки убирать Марусю; ты иди да давай порядок; видишь, Настя бесчувственная тоже лежит.

Наум стал над Настей, опять горько заплакал да и говорит:

– Вставай, мати! Дружечки пришли; пускай убирают к венцу нашу невесту, а я пойду готовить свадьбу!..

Пришедши к священнику, не мог и слова сказать, а только так плачет, что и господи! Священник тотчас догадался, да и говорит:

– Царство ей Небесное! Праведная душа была, упокой ее, Господи, со святыми!

А помолившись, стал, пока сошлись дьячки, успокаивать Наума; потом вошли в церковь; священник служил панихиду и по душе велел звонить на Непорочны¹⁴⁷, как по старом и почетном человеке; да и постлал сукно, ставник¹⁴⁸ и велел читать над нею псалтырь.

¹⁴⁷ *Непорочны* — псалом 114, который считается заупокойным. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁴⁸ *Ставник* — здесь: церковный подсвечник со свечой. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Вошедши Наум в церковь, так и упал пред образами да и молился, что-таки за упокой души своего дитяти, а то-таки все зывал:

– Господи милосердый, дай мне разум, чтоб я при такой тяжелой беде не прогневал тебя не только словом, но ниже мыслью!

Как же запели «Вечную память», так и сам почувствовал, что ему как-то стало легче на душе, и хоть и жаль ему дочери, что уже и говорить – крепко жаль! – да тотчас и подумает:

«Воля Божия! Она теперь в царстве; а за такое горе, что мы теперь терпим, Бог и нас сподобит с нею быть».

Бодро дошел до дому. Уже Марусю одели и положили на лавке, подле окна. Стал Наум над нею, помолился, сложил руки накрест да и начал говорить:

– Доненька моя милая! Марусенька моя незабывная! Что же ты не глянешь карими своими оченками на своего батеньку родного? Что же не бросишься обнять его ручками?.. Что же не проговоришь к нему ни словечка?.. Ты же меня всегда так встречала... а теперь... закрыла свои глазоньки, пока узришь Господа на Страшном суде; сложила ручки, пока с держимым теперь тобою крестом выйдешь из гроба навстречу ему; скрепила уста, пока с ангелами не станешь хвалить его!.. На кого же ты нас оставила?.. Взяла наши радости с собою; кто нас будет веселить такую добротою, как ты?.. Кто нас, как былинки в поле, будет присматривать?.. Кто уймёт наши горячие слезы?.. Кто оботрет нам запекшиеся уста?.. Кто в болезни промочит нам засохший язык?.. Не повеселила ты нас, живучи со своим Василем!.. Не порадовала нас своею свадьбою!.. Берешь свое девство в сырую землю!.. Зато подруженьки украсили твою русую косу, как к венцу: ленточки на голове навязаны... цветочками убраны... и с правой стороны тоже цветок; пусть люди видят, что ты девою была на земле, девою и на тот свет идешь...

Какой собрался народ, а его таки была полнешенькая хата, и в окна многие смотрели, так все навзрыд и плачут!.. Да и как можно было утерпеть, глядя на человека, что совсем в старости, седого как лунь, немощного, стоит над своим дитятем, что одним-одна была ему на свете, и ту пережил, и ту в самом цвете хоронит, а сам остается в свете со старостью, с недугами, с горем, один себе со старухой до какого часа!.. Какая их жизнь уже будет!.. Да что и говорить! Да какое же еще и дитя! Если бы уже какая-нибудь, так себе, так бы и сюды, и туды; а то ж девка не то что на все село, да вряд ли где и близко была ли такая? Богобоязливая, богомольная, ко всякому делу прилежна, послушная, покорная, учтивая, тихая, разумная, а что уже красивая, так уже нечего и говорить. И что-то: кто и знал ее, кто и не знал, то всяк любил и уважал; и как услышали, что она умерла, то все, и старые, и молодые, и малые дети, все жалели об ней, и сбежались смотреть на нее, и тужить по ней.

О старой Насте уж нечего и говорить: не смогла она не только что порядок давать, да и с места не вставала: все сидела подле покойницы и уже не плакала, потому что и слез не стало, а только вздыхала и ни полслова не могла, оплакивая, приговаривать¹⁴⁹.

Послушав псалтырь, что дьячок читал, Наум сел подле своей старухи, да и говорит:

– Что, старуха? Управились мы с тобой? Собирались свадьбу играть, как вот похороны! Ох-ох-ох!

– Это нам за грехи наши Бог наказание послал! – сказала ему Настя.

– За грехи, – сказал, подумавши, Наум, – есть ли такое наказание, чтоб нам можно бы удовлетворить за наши грехи?.. Что день, что час, мы тяжко согрешаем пред Господом нашим; так чего же мы достойны?.. Как бы отец наш небесный поступал с нами не по милосердию, а по правде своей святой, так мы бы и давно недостойны и на свет смотреть. Меры нет милосердию.

– Зачем он взял от нас одну нашу радость?.. Что мы теперь будем?

¹⁴⁹ Порядок требует, чтобы над покойником непременно плакали с приговорами, подобно как Наум говорил, мать, сестра, жена или другая самая ближайшая родственница. В случае, если она истощится в слезах и приговорах или нужно ей будет отлучиться для распоряжков при погребении, тогда тотчас место ее заменяет мастерица, оплакивая, приговаривать, голосить. Перевод. (Прим. автора.)

– Зачем? Глупая, глупая! Зачем взял? Чтоб дитя доброе, за доброту и ему милое, поживши в этом злом свете, да видевши других, не пошло вслед за теми, кои не по его воле поступают: чтоб не стала и она такою, каких он не любит. А за худое и злое дитя Бог карает отца и мать; так мы и были бы за нее в ответе. А теперь, если наше дитя было доброе, зато и нам что-нибудь Бог из грехов простит.

– На кого же мы теперь остаемся? И кто нас в старости да в немощах присмотрит? – еще-таки спросила Настя.

– И я тоже думал с первого часа, – говорит Наум, – а после, по моей молитве, Бог такую мне мысль послал: не было у нас дитяти, сами по себе жили, будем и без нее. Ты скажешь: тогда были молоды да здоровы, а теперь старые, не сможем работать на себя... Настя, Настя! И в молодые лета не сами по себе мы и жили, и работали, и пропитались – Бог нам помогал; он же нам и теперь не даст погибнуть. Поживем еще, потерпим еще за грехи на сем свете; по его воле придет и наша година. Ты мне закроешь глаза, а тебя тогда, круглую сироту, в беде еще и лучше не оставит тот, который и малейшую мушечку призирает, да и соберет нас вместе, и наша Маруся нас там встретит. Когда же нибудь настанет этот час; не сто лет будем тут бедствовать... Да хоть бы и сто лет, хоть бы и больше, и хотя бы еще горшую беду нам Бог послал – если еще горше этой! – так может ли все то сравняться против того, что нам будет у Господа милосердного и где теперь наша Маруся? Полно же, полно, не плачь, да давай порядок. Живое думает, так и мы: надо все приготовить, как прилично и как только можем мы устроить и за душу, и за славу нашей Маруси.

Стало к вечеру. Под навесом знакомый маляр красит гроб, да что за славный гроб! Дубовые доски, да толстые, да сухие, словно железо, да и сделано чисто, как столярной работы, потому что и мастера, что его делали, жалея об Марусе и любя Наума, делали его со всем усердием; а как еще маляр вычернил его, да на крыше намалевал крест святой, да кругом написал слова всякими красками, в головах ангела Божьего, а в ногах изображение смерти, с костями, да так живо, что как настоящая смерть, так такой гроб! Хоть бы и всякому доброму человеку привел Бог такой иметь. В хате и в комнате женщины приготавливали: то муку сеяли, то тесто месили, то лапшу крошили, то птицу резали; а народ то подле мертвой, то подле открытого окна, что над нею, смотрел; а старики от горя так уже изнемоглися, что даже слегли... Как вдруг крик! Кто-то крепко застонал, даже закричал... Народ за окном тоже крикнул: «Василь, Василь!» – и расступился. Наум, услышавши это, вскочил... Глянул в окно... Лежит бедный Василь подле окна, точно мертвый совсем...

В то время, как звонили по душе Марусиной, ехал мимо церкви сердечный Василь и как можно поспешал к хозяину с радостью, потому что все сделал, как только лучше можно было, и вез ему великие барыши. Как едет – и слышит, что звонят: вздрогнул крепко, как будто ему кто снегу за спину насыпал, в животе стало холодно, и на душе такая скорбь пала, что и сам не знал, что он такое стал. Перекрестился и сказал:

– Дай Бог Царство Небесное, вечный покой умершему! – а сам погнал лошадей, чтоб скорее отдать отчет хозяину, да и к Марусе, и чтобы уже с нею не разлучаться до самой свадьбы.

Так вот какую свадьбу нашел Василь! А как увидел свою Марусю, вместо того, чтобы сидеть на посаде, лежащую на лавке под церковным сукном; хоть и убрана, и украшена, да не к венцу с ним, а в могилу от него идти! Как такую ее увидел, вскричал жалобно, застонал, побледнел, как смерть, да тут же и упал как неживой!..

Насилу и на великую силу спасли его. Уж и водою обливали и трясли... Так вот он глянул, обвел кругом глазами, да и сказал тихо:

– Маруся!.. Где моя Маруся?..

– И уже, мой сын, Маруся ни твоя, ни наша – Божия! – стал ему Наум говорить. – Остала нас! Василь сидит, как окаменелый, и не видит, и не слышит ничего. Вот Наум подумал, видит, что его надобно разжалобить, чтоб только он заплакал, то ему и легче будет; вот и стал

к нему говорить... Да как уже жалобно говорил, что я подумать так нельзя, как он ему все рассказывал! Как его Маруся любила, как грустила за ним, как заболела и, умирая, что поручила ему сказать... Василь, слушавши, как заплачет... зарыдает! Как бросится к ней... Припал, целовал ей руки... и не выговорит ничего, только:

– Маруся!.. Моя Марусенька!..

То оставит ее, плачет, то убивается да опять к ней... А народ таки весь... да что то, и малые дети, так и рыдают, глядя на него и на стариков, что и его оплакивают, как мертвого.

Вот так все было до вечера. Народ помаленьку разошелся, и уже ночью Наум, изнемогши совсем, немного вздремал. Пробудился, смотрит, что Василь и не думает отойти от умершей, стоит подле нее на коленях, да знай руки ее целует, да что-то приговаривает с горячими слезами. Вот Наум ему и говорит:

– Отдохни, сын, хоть немного! Завтра тебе тяжкий день будет; соберися с силою. Видишь, я и – уж мне больше ее жаль – да я таки немного вздремнул, чтобы хоть мало голове легче было.

– Вам ее больше жаль? – говорит Василь. – Да как это можно и подумать? Я ее любил во сто раз больше, нежели вы.

– Уж этого не можно рассудить: ты говоришь, что ты больше, а я знаю, что я ей отец, стар человек, и уж у меня дочери не будет; а ты себе, как захочешь, невесту и завтра сыщешь...

– Отец, отец! – жалобно сказал Василь. – И вам не грех так говорить!.. И в какую пору, и в каком месте! – После посмотрел на него грозно из-под бровей, да и стал, как будто не в своем уме, сам с собою разговаривать:

– Их правда... Скоро, скоро посватаюсь... да и женюсь... Соберетесь на свадьбу... Да не зовите попа... а может... нужды нет...

Слушая такие его речи, Наум крепко испугался, подумав, нет ли у него намерения, чтоб – сохрани Бог! – самому себе смерть причинить; стал его развлекать и рассказывать, какой это смертельный грех, чтобы против Божией воли искать смерти, и что такая душа не прощена от Бога в веки вечные. Потом стал его научать, чтобы молился Богу и чтоб положился на милость его... И много кое-чего ему доброго говорил, потому что был очень умный, хоть и читать не учился, а в беседе частенько и священник не знал, что против него говорить; а дьячок так и в речь с ним не смел вступать.

Василь на все его речи стоял молча: то усмехнется, то насупится, то забормочет:

– Молиться? Молитесь вы?

А сам, видно, свое думал. Наум же, говоривши ему долго, подумал:

«Что ему теперь толковать? Он и себя не помнит. Пускай на свободе примусь за него и растолкую, чтобы иногда не погубил души своей».

Как только немного обутрело¹⁵⁰, тотчас собрались нужные люди во двор Наума, среди двора разложили огонь, женщины стали заниматься своим: приготовили котлы и горшки и варят в них борщи, лапшу, квасок, жареное мясо режут кусками; а там кутью в миски накладывают; да сытою¹⁵¹ разводят; горелку в бутылки разливают, чтоб потчивать; ложки перебивают, миски готовят; мужчины доски кладут, где сидеть и на которых обедать, и все готовят, как должно, чтоб и людям пообедать, и нищих накормить.

Стал день. Заблаговестили в большой колокол поважно, обыкновенно, как на сбор. Господи! Как повалил народ, так видимо-невидимо! Что из своего села, а то из города поприходили и понаехали; да были-таки и господа, чтобы видеть, как по старинному обряду, что уже теперь редко и употребляется, будут хоронить девку.

¹⁵⁰ Обутрело – наступило утро. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁵¹ Сыта — напиток, мед, разведенный водой. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Как перестали звонить, вот от церкви несут святой крест и хоругви, за ними носилки, а там идут три священника и четвертый диакон, да все в черных ризах; а дьячков так десятка два. За народом же насилу протолпились к хате.

Наум, увидевши, что все уже готово, стал отбирать людей; кого дружкой, кого в подружие, кого в старосты, женщин в свашки, и все по двое; девчонку взял в светилки¹⁵², двенадцать парубков в бояре¹⁵³, а жениха не нужно было выбирать, потому что Василь, настоящий ее жених, был налицо.

Вот как отобрал всех, то и стал им кланяться и просит:

— Люди добрые, соседи любезные! Панове старики, жиночки пан матки, и вы, парубочество честное, и ты, девочка молоденькая! Не откажитесь послушать меня, старого, отца несчастного (а сам так и рыдает). Не привел меня Бог — воля его святая! — дочь замуж отдать, и с вами, приятелями, хлеб-соль разделить и повеселиться, а сподобил меня, грешного, отдать ему единственную дочь, чистую и непорочную, как голубя белого. Собираюсь теперь похоронить ее девство, как велит закон и как слава ее заслужила. Потрудитесь за нею пойти в почете, проводите ее девство на вечную жизнь, не в новую хату и не до милого мужа, а в темный гроб и в сырую землю! Утешьте меня своим послушанием, и меня, старика, отца скорбящего, что свою утробу... — да хотел поклониться, да и упал на землю, и горько, горько зарыдал, а за ним и весь народ плачет.

После, вставши и отдохнувши, говорит:

— А где старая мать? Пускай раздаст подарки сватам да снаряжает поезд.

Вот позвали Настю, а вместо нее поставили другую женщину, чтоб голосила над покойницею да приговаривала до какого времени нужно.

Не сама вышла Настя к почетным, а вывели ее, потому что уже совсем не могла. За нею вынесли сундук с подарками и открыли. Вот Настя прежде всего подозвала к себе девок, да и говорит:

— Не порадовалась моя душа, чтобы видеть, как моя милая Марусенька, ходя по улице, да собирала бы вас в дружки на свою радость, а привел меня Господь самой в старости, горькими слезами обливаясь, просить, чтобы проводили девство ее до темной могилы. Не досталося мне слышать ваших свадебных песен к моей Марусе, и вместо того увижу ваши слезы, что со мною станете проливать, как запоят «Вечную память»! Не прогневайтесь, что вместо свадебных пряничков или каравайных шишек дает вам мать несчастная, горькая, дает восковые свечи. Затеплите их, проводите мою Марусеньку и ведайте, как горят ваши свечки, так горит мое сердце от скорби великой, хороня единственную дочь — утеху мою... А сама остаюсь в старости, как былинка в поле, и слезами умываюсь.

Тут и раздала им гривенные свечи и все зеленого воску.

Потом вынула тот рушник, широкий да долгий, да что-то уже хорошо был вышит и что должен бы подостлан быть при венчанье под ноги молодым; тот навязали на святой крест, большой, что впереди носят.

А там перевязали дружка и подружого прежде рушниками длинными, от плеча даже до земли, да все с вышитыми заполочью орлами да цветами; а потом и другими накрест белого полотна, длинными, аршина по четыре, и все обшиты. Такими же рушниками перевязали и свашек, да им еще прикололи к очипкам по цветку. Старост также перевязали рушниками, по одному, да хорошему. Светилке сделали меч, как на свадьбе бывает; навязали ласкавцев, чернобрицев¹⁵⁴, васильков, позолоченной шумихою калины и свечу ярого воска зажгли;

¹⁵² *Светилка* — девушка (сестра или близкая родственница молодого), которая на венчании держит свечи. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁵³ Все сии должности необходимы при свадьбе. Перевод. (Прим. автора.)

¹⁵⁴ Простые садовые цветы. (Прим. автора.)

мечь обвязали и светилку перевязали рушниками, также хорошими и все вышитыми. Боярам нашили на шапки шелковые цветы и правые руки перевязали платками, все бумажными, красными, как один, что рубля по полтора каждый. Тот платок, тоже бумажный, что располагали молодым руки при венце связать, тот отдали на серебряный крест, что священник в руках несет; а таки, кроме того, каждому священнику и диакону на свечи дали бумажные платки синие и всякому дьячку дали по простому платку. Ковер большой, да хороший; положили на крышку гроба, а другой, коц, важный, с разводами и в середине большой орел, так тот положили на носилки под гроб; и чтобы всё то пошло на церковь Божию за душу умершей.

Потом Настя стала раздавать из сундука все, что было: что девичье – плахта ли, или запаска, рубашки, платки или что-нибудь такое – раздавала убогим девкам да сиротам, что ни отца, ни матери и что им негде взять; а женское, то серпянки, то белые очипки, то платки на голову, что было приготовлено для ее дочери, таким же женщинам, вдовам, все убогим, так что, какой то был большой сундук и полнехонький, так хотя бы что-нибудь осталось: все раздала и сундук отдала на церковь Божию; и перины, и подушки, и рядна – все сбыла за Царство Небесное Маруси и за душу свою и Наумову; а потом и говорит, перекрестившись:

– Слава тебе, Господи, что было что раздать за душу моей милой Марусеньки и обделить добрых людей. На что мне ее приданое, когда я и ее лишилась!

И переплакавши говорит:

– Где же еще наш молодой?

Вот его и привели к ней. Обняла она его крепко; целует; плачет и приговаривает:

– Зятек мой милый!.. Сыночек мой любезный!.. Как порох в глазе, так ты мне остался. Вот же твой сватаный платок; без тебя Маруся все его подле сердца носила, а, умирая, заповедала надеть его тебе при ее похоронах... Не забывай моей Маруси и того, как она тебя верно до смерти любила!.. Не забывай моей с отцом старости!.. Не оставляй нас... Присмотри нас в немощах!.. Некому нам будет и глаза закрыть, и помянуть нас!..

Василь бледный-бледный, как настоящая смерть; волосы ему склокочены; глаза, словно у мёртвого – смотрят и ничего не видят; руки как судорогами сведенные, а сам трясется, как лист; не помнил, как тот платок привязали ему к поясу, и насилу мог проговорить к Насте: «Маточко родненькая!..» – да больше ничего не мог и сказать. Вот Настя, прицепивши платок, перекрестила его да и говорит:

– Бог тебя, мой сыночек, сироточка, вдовец без венца, благословит и Матерь его Святая на все доброе, только не покидай нас!.. – сказавши это, пошла голосить над дочерью.

Вот, как совсем управились, священники начали петь, что должно. Бояре положили Марусю в гроб, а дружки поправили на ней косы да цветочки и на голову еще положили веночек – потому что ещё не была венчана, – который сами сплели из желтых гвоздиков да ромашки и из разных цветов.

Сердечный Наум, едва ноги передвигая, а еще-таки хотел закон исполнить, подошёл к гробу, перекрестил Марусю и говорит:

– Поздравляю тебя, Марусенька, на новоселье!.. Бог послал тебе этот дом, почивай в нем. Пусть ни один злой человек не потревожит твоих костей ни руками, ни языком; чтоб так тихо, как теперь лежишь, пролежала до Страшного суда и с радостью встала с сим святым крестом.

После этого бояре и понесли гроб из хаты, а Наум таки еще вслед, хоть горько плачет, а еще усилился сказать:

– Прощай, Маруся, из моего дома! Недолго ты у меня гостила, но с тобою всегда была радость... Ты не воротишься вовек, и я не буду иметь радости также вовек!..

Вот и понесли: спереди всего святой крест с хоругвями, потом крышка с носилок, церковным сукном покрытая, – несли четыре мальчика, как ангелы, и у них платочки; затем крышка с гроба, ковром покрытая, а несли ее четыре боярина; за ними священники со свечами и диакон с кадилом, а там дьячки, да так хорошо и трогательно поют, что хоть не хочешь, а плачешь.

За ними пошли дружки попарно, все в белых свитах и только одни черные ленты положены на головах, без всякого наряда, и у каждой в руках зеленая свеча пылает. За дружками шла одна себе светилка с мечом; за нею две свашки, потом дружко и поддружий, а за ними уже несли гроб бояре; а Василь, как жених, шел с правой стороны, идет на превеликую силу и как будто и не он; ни до чего ему нет дела; что ему скажут, то и делает и идет туда, а глаз со своей Маруси не сводит... А она, моя сердечная! Лежит, моя голубочка, тем серпянком, что должен был ее на свадьбе покрывать, вся покрыта, а только лицо не закрыто, и кажется, что она, лежа, свысока поглядывает везде; да еще, как она хорошо умирала, так и улыбка у нее на лице осталась, и она как будто усмехается и утешается, что ее так хорошо хоронят.

Василь, может, не сошел бы с места, потому что у него и памяти не было; так его вели два старосты в рушниках под руки.

За гробом шли или вели соседи и приятели Наума и Настю, что так и разливаются, как та река. А колокола? Так, господа! Не перестают и всё звонят. А народу, народу! И за гробом, и подле гроба, и впереди по улице, и по плетням и воротам... что-то! И сказать не можно, сколько их там было.

Пока донесли к церкви, то двенадцать раз останавливались читать Евангелие и всякий раз подстилали бумажный платок.

Отслуживши в церкви службу Божию и похороны, как следует, понесли тем же порядком и на кладбище. Как стали опускать гроб в могилу, от Насти подали двадцать аршин неразрезанных рушников, да на них и впустили гроб... и что-то! Весь народ так и рыдает, а Наум бросился на колена, поднял руки вверх да и молится:

– Господи праведный! Твоею волею осиротел я, старец немощный! Тело моей дочери отдаю матери нашей – земле, а душу приими в царствие свое... и не оставь меня, грешного!..

Потом стал читать «Отче наш», даже пока совсем опустили гроб и священники молитвою запечатали могилу. Тут Наум встал, взял земли горсть... трясется, сердечный, да плачет-плачет! Бросил землю в могилу и говорит:

– Дай нам, Господи, в одном царстве быть с нею!.. Прощай, Маруся, в последний раз. Пусть над тобою земля пером!

То ж и Настя так сделала. Как же пришлось Василию кидать, схватил земли горсть, как зарыдает, затрясется! Пальцы ему свело и руки не может расправить, чтобы бросить в могилу... Дрожал, дрожал и упал без чувств.

Тут весь народ, каждый хоть по горсточке, кидали землю в могилу, чтобы быть с ней в одном царстве; а потом бояре лопатами засыпали, и совсем кончили, и верх вывели, и крест высокий да толстый и зеленою краскою выкрашенный в головах поставили.

Вот и вся Марусе память!..

Пришедши домой, священники, весь народ и трудившиеся стали приготовляться обедать. Настя первая хватилась:

– Где же наш Василь? Пускай мой голубчик, жених-вдовец, пускай садится на посад сам себе.

Василя нет! Сюда-туда, где Василь?.. Нет нигде...

Искали, искали... нет! Да уже один старик сказал, что поднял его на кладбище, и тряс, и водою брызгал, и на превеликую силу он почувствовался и, отдохнувши немного, сказал, что пойдет проходиться. Человек пустил его и пошел за прочими, а где уже он девался, он не увидел.

Бросились бояре, кто попроворнее, искать его: искали и на кладбище, и в бору, и где-то уже его не искали... Нет, да и нет! Нечего делать – без него пообедали.

После обеда, как все, благодаря Наума и Настю и поминаючи Марусю, разошлись, и как уже дома все поприбирали, послал Наум в город к Василевому хозяину, что не там ли он? Не было и нет! Послал к родным... Не слышали и не видели.

Наум и Настя делали поминки и в третий, и в девятый дни; также и в двадцатый, и в сороковой, как должно по-христиански... И что за обеды были! На все село. Много и нищим милостыни подавали. Василия ж не было, да и не было! И слух о нем запал! Набольше тужит за ним Наум, боясь, чтоб он сам себе смерти не причинил. Горюя об этом, часто плакал, и утро и вечер молился за него Богу, чтоб сохранил его и на разум наставил, и возвратил бы его к нему, чтоб было кому присмотреть их в старости.

Уже и год прошел после Маруси. Старик отпоминал ее как должно, и попам заплатили за сорокоуст¹⁵⁵, что нанимали в трех церквях и в четвертом монастыре, и дьячкам за псалтырь, что шесть недель, пока Марусина душа летала вокруг ее гроба¹⁵⁶, читали над ним. Старая Настя тужит, как будто сегодня похоронила дочь, а Наум все только успокаивает ее и говорит:

– Что ж делать! Молись Богу! Перенесем здесь, будет хорошо там! Его святая воля! Вот Василия мне жалче, что – не дай бог! – не пропал ли он и с телом, и с душой!

Сам же Наум всем хозяйством распоряжал и все собирал; а что смог, то и сам, не ленись, работал. А только лишь соберет чего хоть немного, так раздает бедным и нищим. Всех обделяет.

Станет было Настя говорить:

– Да чего ты так хлопчешь? На что нам это? Есть ли оно или нет – все равно. Век наш – день!

– Да хоть бы и час, – говорил Наум, – не себе я работаю, не для себя приготавливаю. Все в руках Бога милосердного, все его, а я только работник его. В его святые руки передаю через нищих божиих. Грех лежать хлеб есть; пока смогу, должен работать и бедным отдавать. Повелит идти к Марусе – пойду, хвалю его; а кому это останется, тот спасибо скажет и отпоминает нас, когда захочет; а не захочет, как хочет; я же, пока во мне сила, свое дело делаю...

Прошел уже и другой год. На третьем пришел к ним человек из города, который в то лето ходил в Киев, да и говорит:

– Кланялся вам ваш Василь!

Наум так и вскрикнул от радости: где ты его видел? – да и подозвал Настю (которая уже от старости стала худо слышать), чтобы поближе подошла слушать про Василия. Обрадовалась и Настя, потому что и она очень тужила, что не было о нем никакого слуха; под села к тому человеку и просила, чтоб громче рассказывал, где он его видел и как он поживает.

Вот человек и говорит:

– Видел его в Киеве, и уже он не Василь, а... отец Венедикт...

– Как это так? – вскричали оба старика.

– А так, – говорит человек, – что он там постригся в монахи.

– В монахи? – сказали обое, да и стали Богу молиться и благодарить, что навели его на путь спасения.

– Он в **** монастыре и уже диаконом, и при мне, – так-то рассказывал тот человек, – служил службу Божию. А как расспросил меня, что я с этих мест и вас знаю, так зазвал меня к себе и говорил:

– Кланяйся им, я их, – говорит, – как отца и мать почитаю, и когда служу, каждый день на Божией службе их и умершую дочь их поминаю; и сколько даст бог веку прожить, всякий день буду их поминать. Через их молитвы Бог меня спас и вырвал из рук дьявола: как умерла Маруся, то я, грешный, подле нее поклялся самому себе смерть причинить; и как похоронили Марусю, я тихонько от них, чтоб меня не остановили, пошел куда зря, взявши только горсть земли с Марусиной могилы, чтобы хоть с одною землею, что ее покрывает, вместе лежать. Как шел и куда, чрез целый день и ночь и опять день, я ничего не помню. Опомился уже над рекою.

¹⁵⁵ Сорокоуст — молитвы об умершем на протяжении сорока дней после смерти. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁵⁶ Народное поверье. (Прим. автора.)

Стою на утесе, а какие-то два монаха меня крестят и святою водою окропляют, да говорят мне премудрые речи. Долго того было, пока я, говорит Василь, в разум пришел. Потом меня те монахи привезли в Киев в **** монастырь. Вот меня тут приняли и долго утешали, и после, как получено от общества увольнение, то и постригли в монахи, а потом и диаконом поставили. Кланяйся же, – говорит, – моим родителям; вот им и просфира¹⁵⁷ святая, и пускай придут ко мне, когда еще проживу на свете, потому что только моей и мысли, только и помышления, чтоб скорее быть вместе с Марусею.

Взял Наум просфиру, поцеловал да и задумался, а потом и говорит к Василию, как будто он тут перед ним стоит:

– Ведь же ты теперь отец Венедикт... Ты служишь службу Божию... Чего же ты спотыкаешься? Эй, молись, горячо молись! Помни, что в «Отче наш» читаешь: «Да будет воля Твоя и избави нас от лукавого!»

На том же месте и в тот же час обещался Наум со старухой в Киев ехать. Бог их туда принес. Пошли по монастырям; тотчас в **** спросили про диакона из таких-то мест, по имени отца Венедикта. Вот им монах и говорит:

– Помяните его уже за упокой! Он и пришел немощной, да-таки себя и не поберегал; не слушал никого, искал болезней и заморил себя совсем. Потом чахнул, чахнул, да вот недели две как и умер. Да еще-таки от суеты не избавился: умирая, убедительно просил, чтобы ему в гроб положили какую-то землю, что была у него в платке завязана; а платок шелковый, красный платок, просил положить ему под голову. Но как закон запрещает иноку такие прихоти, то мы и не исполнили его, грешного, же лания.

Тяжко вздохнул Наум, после доискался его могилы и, пришедши с Настею, просил петь тут по нем панихиду и в грамотку свою записал его.

Долго, долго стоял Наум над могилою его. После вздохнул, перекрестился и сказал:

– Дай, Господи милосердый, чтоб ты там нашел нашу Марусю!..

Праздник мертвецов

Посвящается Казаку Владимиру Луганскому¹⁵⁸

Был себе муж да жена. Мужа звали Никифором, а жену Приською. Она была хорошего рода и одним-одна дочь у отца очень богатого; было всякого имущества, а сына не было – только дочь. Отец ее, подумавши, да взял сироту, этого Никифора, вместо своего дитяти, да и выкормил его, и присмотрел и на разум наставлял. А Никифоров отец да был себе большой бездельник; спился и свелся ни к чему, да когда-то под плетнем пьяный и околел; жена – одно то, что не имела ничего, а другое, не умела работать – пошла по-под окнами; а мальчика, Христа ради, взял, как я говорю, Приськин отец. Так что ж? Недаром говорят: недалеко откатилось яблочко от яблони; у Никифора была вся натура отцовская. Воряга такой, что ни с чем не расстанется, и цыгана проведет, и нищего обокрадет. А пить? Так не перепьет его и Данилка, вот что у того барина, что подле нас живет да что за его каретою на запятках трясется в изукрашенном кафтане да в обшитой шляпе, как тот вареник свернутой. Тот ужасно пьет, а Никифор еще и горше его! Еще же таки пока холостым был, то и сюда и туда: пьет было, ночь прогуливает, с парубками бурлакует¹⁵⁹, а днем как стекло перед хозяином и работает, что надо, во всяком деле слушает и уважает старика. Когда же было его на вольной¹⁶⁰ или на вечерницах

¹⁵⁷ *Просфира* – круглый хлебец, употребляемый в православном богослужении. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁵⁸ *Казак Луганский* – наиболее известный псевдоним Владимира Ивановича Даля, незадолго до этого поместившего в «Современнике» свой перевод повести Квитки «Солдатский портрет». (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁵⁹ *Бурлаку* – идти в бурлаки. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁶⁰ *На вольной* – т. е. в кабаке, находившемся за пределами города и имевшем право «свободной», не облагаемой налогом

прибьют порядком, потому что такой был себе задорный, что ко всякому так в глаза и лезет, как та оса, – хоть бы тебе десятский или сотский, да-таки и самому атаману не очень уважал, так и свяжется – ну, так и известно, что ему ото всех и доставалось. Да еще, на беду себе, был ростом невелик, тщедушный, да и силы было не больше, как у слепой поповой кобылы, что было не сможет в Филипповки поповских хаптур¹⁶¹ по селу возить. Так с кем ни свяжется, то всяк его прибьет и прав. А иногда против кучи один пойдет, так тут уже доставалось ему на орехи; рожу ему разобьют, волоса оборвут; платье, а от богатого *хозяина, так платье у него* было всегда *хорошее* – разорвут, да таких ему тусанов надают, да так ему бока набьют, что насили перед *светом* домой на *четвереньках* долезет.

Так что ж? Перед хозяином отолжется: то ночью пчелиного роя ловил – так пчелы ему все лицо искушали; то ведьма ночью приходила хозяйских коров доить, а он начал отгонять, а она превратилась собакою, да бросилась на него и платье ему порвала и всего исцарапала. То, было, старик и верит, и лечит его, да еще от перепугу, чтоб не заболел, и горелочкою его потчивает. Вот нашему Никифору это и на руку! Лежит на печи, да охает, да горелочку тянет, как будто и добрый, а около него все и нянчатся. Вот так точнехонько, как бывает, что нежная себе жена да пожелает новой запаски, да пристанет к мужу:

– Купи, да и купи; хотя пропади, а да купи, а то умру! – да и ляжет на печь и начнет всякой вздор говорить, будто в жару. Он, сердечный, тут со знахарками и с ворожеями около нее управляется, а те, известно, деньги берут, а ему говорят:

– Купи ей, чего желает, а то умрет! Он к ней:

– Чего тебе хочется? Говори!

Тут она и начнет выдумывать: и пряников, и моченых яблок; а далее, как уже видит, что муж истратил немалую сумму денег, то уже тогда и закричит что есть мочи:

– Купи новую запаску!

Бедный почесывает затылок, и хотя те деньги надо было нести в волостное правление, отдать за подушное и за общественное, да уже нечего делать! Покупает запаску, чтоб в самом деле не умерла, – тогда этими деньгами на похоронах не управиться.

Вот так-то прихотничал и наш Никифор. И что-то! Что никто и не знал, что он такой бездельник, а не зная, да и отдали за него Приську. А как после этого вскоре умер отец ее, а там и мать, то и остался наш Никифор сам себе господин.

Недолго же и хозяйничал. В три года все решил. Какая была скотина, сбыл, а денежки пропил; землю заложил, а деньги пропил; а что было кроме того, то от недосмотру само собою пропало. Пьет, крадет и ловится; бьется да судится. А известно, что только пойдешь с жалобами да с просьбами, так и надо: «придите, поклонимся», потому что сказано: без подпалки и дрова не горят. А как десятскому дай, сотскому дай, писарю дай, атаману дай, а все-таки в волостное правление представляют; не одним же есть хлеб; а как – не дай бог! – да в ту пору наедет заседатель, да – оборони бог от злого часа – с письмоводителем, так тогда уже и совсем пропал! Пишут-пишут, берут-берут, да только тогда пустят, как уже нечего взять; а то, когда остались какие крохи, так еще и в суд отправят. Ну, там уже и аминь! Так надолго ли Никифору, при его глупой голове, стало всего тестового имения? Фить-фить! Пошло все по добрым людям да по шинкам, и свелся ни к чему!

Сердечная Приська выкупала его не десять раз из-под караула и из колоды¹⁶², а раз пришлось выкупать из острога. Уж какой бы ни был, а все-таки муж; некуда было с ним деваться! А через такие беды истратила все, что было у нее в сундуке из хорошего платья, и наместо, и дукаты, и кресты, и все имущество.

торговли водкой. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁶¹ Хаптуры – взяточники. Видимо, производное от слова «хапать». (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁶² Из колоды – здесь: из места заключения. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Тужила она, тужила; после надобно за ум взяться, чтоб с плеч всего не пропил ее пьяница. Ничего не говоря, стала его в хате запирать, а сама пойдет или полоть, или коноплю брать, чтобы было чем пропитаться. Что ж? Воротится домой, хата пустешенька! Проклятый Никифор вылез в окно, да ищи его! Надо ей броситься по шинкам; где пояс, где шапка заложены, выкупает, сердечная, на последние деньги! Потом отыщет его где-нибудь в шинку под лавкою или под плетнем; разбудит, растолкает, тащит домой, и выговаривает, и бранит, а сама от злой беды только что плачет.

Потом, видевши, что его и брань не берет, и он знай свое продолжает: пить да пить! – нечего делать, думает: хоть грех на душу возьму, а уж не дам ему воли. Раз, привезши его с вольной, ввела в хату, заперла дверь да и говорит:

– А что, Никифор, а до чего ты меня довел? Брани не слушаешь, горя моего не уважаешь, пьешь в свою голову; пропил все отцовское имение, а через тебя и я все материнское истратила, то платя за тебя, то выкупая тебя из шинков; а теперь довел, что я, быв между людьми так как должно, теперь хоть за нищими ходить. Была я хорошего, честного рода, а как утопила свою голову, выйдя за тебя, природного пьяницу, так по тебе и я стала последней в селе. Разве хочешь так пропасть, как и отец твой? Так пропадай же себе, как знаешь, а я знаю, что пока я жива, так не дам тебе воли таскаться да пьянствовать. До каких пор мне терпеть? Через закон пойду, а на своем поставлю.

Да засучивши рукава у рубашки и сказавши: «Хотя грех, хотя два жене мужа бить, а пусть Бог простит!» – с сим словом хряп его в рожу, а после в другое, в третье, в десятое, да за волосы, да кулаками, – а баба была себе здоровая, а он такой, что не на что было и смотреть, да еще перепился, так не смог и щепки поднять, не то, чтоб защититься от жены. А она его бьет, а она его тузит да знай приговаривает:

– Не пей, не пьянствуй, не пропивай добра, сиди дома, зарабатывай чем-нибудь да корми и себя, и бедную жену... вот так тебе... вот так тебе, бусурману, католицкому, аспидскому¹⁶³ мужу!..

Била-била, даже устала и села на лавку и говорит:

– А чтоб тебе се и то, что ты меня и ко греху привел и уморил меня ни на что! Встань, говорю тебе (потому что уже сердечный Никифор даже не смог и стоять, да присел к земле), встань да кланяйся жене, чтоб я простила тебя, что ты так меня уморил.

Нечего делать Никифору! Кланяется, сердечный, просит жену, чтобы она его простила, бивши его, и обещался уже не пить и не уходить из дому, разве она его куда пошлет.

Отдохнувши, Приська простила мужа и говорит:

– Не тужи, сякой-такой сын! За битого двух небитых дают да еще и не берут. А когда не будешь слушать, то вот тебе говорю, что еще буду бить; да после и пан отцу исповедываться буду, что против закона поступила.

Эге! Да наша Приська исправила мужа! Не то чтоб он уже вовсе не пил; не проливал казак, когда где попадался чарка – да только в компании, на свадьбе ли или на крестинах; да уже не то чтоб ему таскаться по шинкам да за чарку горелки чертям душу отдавать. Сидит дома и со двора никуда! Взясся – нечего делать! – починять старые шубы, стала и копейка перепадать. Приська все собирает, да радуется и думает:

«С бездельника, может, что-нибудь и доброе будет».

Вот так прошел Рождественский мясоед¹⁶⁴, прошла и Масленица. Что-то уже хотелось нашему Никифору, чтоб как-нибудь урваться да погулять на последних днях. Так вовсе не

¹⁶³ Аспидский — злобный. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁶⁴ Рождественский мясоед – праздник, наступавший после поста, когда по церковным правилам разрешалось употреблять мясную пищу. Иначе назывался Домочадцев день и отмечался 10 января. (Прим. Л. Г. Фризмана)

можно. Приська репьем так за него и держится, и не можно ему без ведома выйти из хаты; зипун, и сапоги, и шапка у нее в сундуке.

В самое заговенье¹⁶⁵, что на Великий пост, она ему говорит: «Поди-ка, Никифор, к обедне, на этой неделе будешь говеть. Да смотри ж ты мне: чтоб ты из церкви тотчас был здесь. Когда придешь, то дам тебе обедать, а ведь у нас есть и вареники, я припасла и масла, и сметаны; а когда буду добра, то чарку горелки дам, да и заговеемся, как долг велит. Когда же не воротишься тотчас да пойдешь куда пить, то вот, божуся тебе, что такими толчками тебя накормлю, что будешь меня долго помнить!» – Дала ему зипун и шапку и проводила, все одно толкуя.

Пошел наш Никифор, да только же мы его и видели!.. Приготовила Приська и обедать, а его нет. Пообедавши, пошла к соседке, потом и домой воротилась, а его нет. Пополудничала одна, а его нет. Вышла посидеть на улице: каждого, кто шел, спрашивает:

– Не видали ли ее мужа?

Никто не видал. Уже и вечер, а его нет!.. Насилу лезет домой в поздний вечер, ни живой ни мертвый, и слова не выговорит: язык одеревенел, и сам себя не помнит, где он и что он есть на свете. Сопит да молчит, и глаз, заплывших ему горелкою, не раскроет.

– Побила меня лихая година да несчастливая, – тотчас крикнула на него Приська, – вот с этим дурнем, пьяницею, бродягою! Где ты там у аспиды таскался? Еще, на удивление, как-то добрел и нашел свою хату! Видишь, как нарезался, что и слова не проговорит! Бог дал людям заговенье, чтоб заговорили порядочно с женами да с детками; а я за слезами света не видела, сидя сама себе в хате, как в темнице. Вот же уверяю тебя, что опять примуся за тебя, да так тебя проучу, что и повек не возьмешься за чарку...

Так что ж?.. Хоть ему говори, хоть не говори, он ничего и не помнит.

И правда. Сидит Никифор да только вздыхает, а эта горелка из него дух прет; хочет что-то сказать, так рта не разинет и языка не пошевелит, как будто он у него войлочный; только, как тот сыч, хлопает бровями, потому что глаз вовсе не видно; запали и слиплися.

Бранила его жена, бранила – как говорят – на все корки; после-таки, сяк не так, жаль его стало: все-таки был ей муж, а тут же и заговенье, – как-таки не заговориться!

– Не хочешь ли ты ужинать? – спросила Приська. – Помнишь ли ты, какой сегодня день? Или, как собака, так и ляжешь?

А Никифор хотел что-то отвечать да и не смог, а только громче засопел. А Приська все-таки с ужином к нему, поставила, да и говорит:

– На же, вот тебе горшок с варениками; ешь, да ложись спать, да вставай к заутрене, чтобы мне на этой неделе говел. На, пьяница, вот тебе и свеча. Поужинай, потуши огонь да и ложись спать, уже не рано.

А ложась спать, еще-таки ему приказывала:

– Смотри же, как поужинаешь, то вон в кадочке вода, выполочи порядочно рот, чтоб не осталось во рту сыра, чтобы иногда завтра, нехотя, не оскоромился¹⁶⁶.

Потом, раз пять тяжело вздохнувши, поворотилась и... заснула.

Хотя Никифор и крепко пьян был, а таки, как запахли ему вареники, то и пришел в себя немного. Тотчас за ложку, да в горшок – и стал их уписывать. Что ему там жена ни приказывала, ему и нужды нет; ест себе молодец да сопит что есть мочи. Уж жена и заснула, а он знай трошит вареники... Вот и дремать стал... а все-таки пихает их в горло... После вложил руку в горшок... наклонился... тут свечка погасла... Захрапел наш удалец на всю хату!..

¹⁶⁵ *Заговенье* – последний день, когда разрешалось употреблять скоромную еду перед постом. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁶⁶ *Оскоромиться* — нарушить пост. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Сколько он там спал, кто его знает! Как вот, пошевелившись, слышит, звонят к церкви. Что тут делать? Он бы и не пошел, так жена приказала ему говеть и чтоб непременно шел к заутрене.

«Не послушаться, – думает себе, – так будет бить и за то, что я вчера был пьян; а как пойду, то, может, за вчерашнюю гульню, как стану проситься, то и умиласердится. Пойду!..»

Вот, вскочив поспешно, ощупью нашел (сам после рассказывал) шапку да и вышел скорее из хаты, а про то, что жена приказывала, чтоб выполоскал рот, он не вспомнил, да вряд ли таки, чтобы он это и слышал вчера.

Ночь была темная, а церковь не так далеко. Смотрит Никифор: в церкви светится и на колокольне звонят в постовой колокольчик. Он и стал поспешать к церкви.

Вошел на монастырь, как тут детей – детей!.. Видимо-невидимо! Маленькие, крошечные, да все в белых рубашечках, да бегают кругом церкви, да просятся в дверь, да щебечут, как те цыганенки, да пищат, кричат, визжат:

– Пусти, мама... Пусти, мама, и меня на праздник! Зачем меня родила, не крестив схоронила¹⁶⁷, под порогом положила, да к себе и не принимаешь!..

– Тю на вашу голову! Побесились дети, – сказал Никифор. – Он, не рассматривая ничего, помолился, поклонился, как долг велит, на все стороны, положил шапку в угол да и стал, и прислушивается, что дьячок читает. Понутив голову, стоит и слушает, да и думает:

«Что такое сделалось с нашим дьячком, паном Степаном? У него был козлиный голосок, а это уже свелся, да еще и гугнит¹⁶⁸». Глянул на него сбоку... Носа нет, только одна ямка. Стал пристальнее рассматривать... «Господи, твоя воля!.. Да это не пан Степан... Это еще пан Алексей, что еще умер тогда, когда я был еще подпарубком, да я же и на похоронах его был и гроб нес».

На удивление ему, что с ним много людей, а никто не примечает, что мертвец читает.

Вот Никифор тому, что подле него стоит, хотел про это сказать, как глядь! – что за недобрая мать! – то стоит подле него Охрим Супоня, что еще прошлого года умер... Оглянулся к другому: Юхим Кандзюбенко. С ним вместе были парубками, и он после побоев на вечерницах при нем и умер, да и суд выезжал, и немец его анатомил. Оглянулся туда, и там мертвецы, оборотится сюда, и тут мертвец; куда ни глянет, все мертвецы, все мертвецы, такие, что и недавно померли, и такие, что он их едва помнил; были и такие, что нельзя было их и распознать, кто он такой есть, потому что не было ни носа, ни глаз, ни ушей, ни губ, только одни ямки в голове.

То немного было, Никифор проспал свой хмель; а теперь, как рассмотрел, в какой компании он очутился, так и весь хмель пропал, и стало его трясти, как будто в лихорадке, а цыганский (холодный) пот так и пронимает... А разве, скажете, и не страшно, чтоб живому человеку да попасть между мертвецов? Чего ожидать тут доброго? Совсем видимая смерть!

Посматривает наш Никифор сюда-туда, дьячок себе читает. Вот Никифор и вздумал уйти от них, да и стал отступать от них, крадучись, уже прах бери и шапку, а лишь бы голову целую домой донести, потому что, как говорят, уже не до поросят, когда свинью бьют, – и только что отступил подальше, как пан отец и вышел... А кто ж то и пан отец? Отец Никита, что лет с десяток, а чуть ли еще и не больше, как уже умер!

Вот, вышедши, он и говорит:

– А ну-те, панове миряне, вот дьяк уже дочитывает. Никифор думает:

«Теперь не можно и уйти, чтоб беды от них не было. Не долго достоять. Повижу, что они тут будут делать».

¹⁶⁷ Детей, коих не успеют окрестить, обыкновенно хоронят в той же избе под порогом и верят, что они делаются русалками. В уроченное время года являются, преследуют мать и упрекают, зачем, не окрестив, похоронили, и если поймают, то защекочивают насмерть. Перевод. (Прим. автора.)

¹⁶⁸ Гугнить – говорить гнусавым голосом. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Как вот пан Алексей оставил читать да как загугнит со своими школярами, да все-таки с мертвецами, да как будто из бочки и запели стих, что в Великдень поют, а отец Никита вместо того, чтоб их остановить, себе туда ж подтягивает да и пошел с кадилом; а народ, как начал от него отступать, так так и слышно, как кости гремят.

Слушает Никифор эту их церемонию да и думает:

«Вот так ты на заговенье погуляй, как наши мертвецы, что с перепою забыли, какой сегодня день! Я крепко пьян был, а они, видно, и горше меня. Я-таки помню, что теперь еще только пост начинается, а им показалось, что теперь праздник Великдень. Вот не пьяны вчера были! Вместо говенья Великдень празднуют; в самом деле с толку спилился, лежа себе без всякой работы».

Вот пан отец Никита выступил да и говорит:

– Слушайте, панове миряне! Теперь целуйтесь, да осторожнее, чтоб последних костей об кости не разбили, да и не расходитесь; теперь нам не так, как в прошлом году, что с тощим желудком положились по гробам и нечем было разговеться; вот с того света человек к нам на праздник пришел и вареников принес, так он разделит на всю братию.

Никифор, это слушавши, видит, что это не шутки и к нему очередь дошла; осмелился, да дернул пана за ризы, да и говорит:

– А что, пан отче, честный отче! Не во гнев вам будет, что я вам скажу: может, мертвецы, лежа себе в могилах, как в просе на теплой печи, забыли и дни? Какой теперь Великдень? Еще только Чистый понедельник¹⁶⁹, что и ложки свободны.

– Эге! Вам пост, вам Чистый понедельник! – говорит ему отец Никита, – а наш Великдень, когда у вас пост. Ты же, смотри, что принес нам вареников, то всем раздели, чтоб нам не с тощим желудком ложиться в могилы.

– А где ж я вам их возьму? – сказал Никифор. – Не знать, чего вам хотелось; как будто прихотливая жена – дай того, чего нет. У какого сына есть хотя полвареника?

– А вон у тебя между зубами как раз полвареника, – сказал отец Никита, – да костью, что осталася ему вместо пальца, как шпигнет ему в рот, даже зубы загремели и чуть с десятка их не рассыпалось. – Смотри же, не девай нигде, пока я потребую.

Сказал да и отвернулся порядок давать, потому что вся громада¹⁷⁰, как та волна, прихлынула целоваться с попом.

Пошевелил Никифор языком во рту... так и есть! – нащупал полвареника, оставшегося в коренных зубах.

«Что тут мне на свете делать? – думает себе. – Эго беда! Вот то я был крепко пьян, да ел вареники, да над ними и заснул, не проглотив последнего. А досада, да и полно! Это мне такой беды наделала не кто, как моя Приська! На что она мне их давала? А чтоб вас с женами! Для какого аспиды они выдумали вареники? Кто их выдумал делать? Какой бусурман велел их в заговенье есть? Какой нечистый велел их пьяному давать? Ох, это все наши женушки!.. От них нам вся беда!.. Через свою я теперь пропал!.. Как-таки полвареником всех обделить?.. Да лучше всего уйду. Теперь им не до меня. Пролезу промежду них, то никто меня и не хватится, хотя бы и сам отец Никита, что только и знает, целуется со своими прихожанами».

Вот так себе подумавши, и стал назад пробираться. Так что ж, сердечный? Куда ни поткнется, так везде народ, так стеною и валит, что ни протолкаться ему между ними, ни продвинуться никакою мерою не можно. Он бы и посилился, так боится, что как которого крепко пихнет, так чтоб, случаем, кости не рассыпались и чтоб ему опять какой напасти не было, а как, думает себе, рассыплю какого мертвеца, так, может, и целковым не отделаюся. Силился-

¹⁶⁹ Чистый понедельник – понедельник последней недели перед Пасхой. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁷⁰ Громада — население, община. (Прим. Л. Г. Фризмана)

силился, чтоб продвинуться; после видит, что нельзя, стал себе, опустил руки, наклонил голову да и думает:

«Ну прах вас бери! Что будет, то и будет! Буду смотреть, что выйдет».

Вот и смотрит, что только они делают: тот лезет и обтирается, а уже губ нет, только одни зубы торчат; а у иного и зуб нет, одна пасть, что иная голова ему в рот влезет; да все то к попу, да все вместо того, чтоб цмокнуть, как поцелуется, а тут только кость о кость: стук-стук! А как пошли женщины да девки, так наш Никифор вдоволь насмеялся: иная идет и думает, что на ней и до сих пор очипок парчовый; а он уже не то что полинял, но совсем рассыпался, что и ниток очень мало осталось; а еще-таки головою покачивает да оглядывается, и чтоб смотрели на нее люди, что какая-то она хорошая в парчовом очипке, знай поводит головою, что даже скрипит в костях, как калитка на заржавелых петлях. А вот девка думает, что она еще и теперь хороша, и чернوبرова, и полнолица, и румяна, как была на этом свете; только уже у нее носа нет, одной губы не спрашивай, глаза запали, брови вылезли, вместо гладеньких да полненьких щек стали желтые, сухие, сморщены, как та губка, что у греков в бакалейной лавке между винными ягодами да изюмом продается; на голове волос нет и вместо кос куски от лент остались. Вот какая подойдет к пану Никите, да чтоб целоваться с ним, протянет губы, да и застыдится – видишь, стыдно девке целоваться – да и утрется костлявой рукой, потому что уже ни платья, ни рубашки не осталось, все истлело; то, смотри, пихнут ее сзади, чтоб скорей оканчивала, то она опять к нему... да скорей... стук кость о кость!.. да и застыдится еще горше; и те ямки, где когда-то были глаза, закроет рукою, да наклонивши голову – видишь, ей стыдно, что поцеловалась – и бежит назад. Да как еще пробирается подле того парубка, с которым она на этом свете женихалась, а он ее, чтоб вспомнила старое, за ту плахту... дерг! то она еще и больше застыдится и прячется между людей... А Никифор на все это смотрел, да покачал головою, да и думает:

«Горбатого и могила не исправит. Какие были на этом свете, так и остались. Девичья натура везде одинаковая между людьми: так и стыдятся; пускай же наедине, так ну!..»

После стал он и о себе думать да гадать.

«Что мне, – говорит, – на свете делать? Пришло до беды с этим аспидским, кроме хлеба святого, вареником! Проглотил бы его, да и конец делу; так грех – пост зашел. Выкинуть? Так отец Никита говорил, чтоб я его нигде не девал; а не послушать его, так и эпитимью наложит, что и наш живой отец Павел не отчитает...»

Как вот смотрит, приятель его, Радько Похиленко, стоит особо ото всех в углу и дремлет. Никифор себе и думает:

«Подойду-ка к нему да порасспрошу, нельзя ли как-нибудь от них уйти. Он еще лет пять как умер, так еще, может, не очень с ними подружился и, может, за живым скорее руку потянет».

Вот и подошел, да и говорит:

– Здравствуй, Радько! Еще ты меня не забыл?

– Здорово, Никифор! – говорит Радько. – Как тебя и забыть? Я и теперь часто вспоминаю, как мы с тобою на том свете гуляли.

– А как себе поживаешь?

– Со всячиною, как говорят: часом с квасом, а порою с водою. Хорошо вы, живые люди, делаете, что не очень суетесь на наш свет.

– А что? Разве у вас не так, как у нас? – спросил Никифор.

– Нет, брат! – говорит Радько. – Тут уже все не то. Оно бы то, для кого и не дурно: лежи, сколько хочешь; барщины нет, за подушные не тянут, атамана слыхом не слышать, жена не грызет головы, работы никакой, ни об еде, ни о платье не хлопочи... Все все-таки хорошо, да ба! Не с кем беседовать, не с кем слова проговорить. Черви, да жабы, да всякая нечистота – вот больше и нет никого.

– Ведь же вы часто наведываетесь и на наш свет?

– Да то уже, брат, с тоски. Лежишь себе да и вспоминаешь: у кого была жена, думаешь, как-то она, сердечная, себе поживает? Вот и выскочишь на ваш свет. Глядь! В твоей хате да уже иной хозяин, и все не так, как при тебе было: и хозяйство не туда идет, по тебе уже никакой памяти нет, только что в поминальной грамотке записан; и деточки твои, как сироточки, и голые, и босые, и голодные, и во всем обижены от отчима и от новых детей. Вот и возьмет сердце: тотчас жену сонную и притузишь... Пускай водится со знахарками да с ворожеями, а ты свое взял да и прав. Вот так и из парубков: бросятся подсматривать за своими девками, что божились, что пока жива буду, буду любить тебя, а если ты умрешь, и я за тобою, чтобы вместе лежать. Ты, как дурак, умер да и ждешь ее, ждешь с московский месяц... Нет!.. Бросишься на ваш свет! А она уже и замуж вышла, и в колыбели дитя качает; или еще девкою да с другими играет, да смеется, а подчас и тебя недобрым словом вспоминает!.. Нечего делать, почешешь затылок, да и засядешь под плетнем, пока она будет идти на вечерницы, да тут и пустишь ей какое-нибудь привидение, чтоб от страху лихорадка схватила... Когда ж иной был гуляка, что без чарки и жить не мог, вот и вздумает: пойду, хоть посмотрю, как добрые люди на том свете пьют... Придет, так что ж? Все не то, что при нем было; вместо шинкаря сидит целовальник, вместо осьмухи уже ходит кварта¹⁷¹, да и горелка разведена водою больше, чем наполовину, и цена нелюдская! Вот, рассердяся, что ему делать? Несносного целовальника ударит по лысине или волосы оборвет, а он и не знает, откуда ему такая беда пришла; разлищика головою в кадку, а ногами кверху поставит; антихристскую посуду всю перебьет, народ из кабака разгонит и такую славу наведет, что и самый непросыпный пьяница три дня не посмеет ногою в кабак ступить.

– Вот это ты, Радько, хорошо вспомнил про горелку, – сказал ему Никифор, – не хочешь ли по чарке ради вашего праздника? Пойдем ко мне, у меня есть добрая горелка, из вольной, украдкой от объездчиков пронес на Масленой¹⁷².

Это говоря, Никифор лгал; какая уже у него и капля была в хозяйстве; одно то, что не за что было этого добра и купить; а другое, что и Приська не таковская была, чтоб держать горелку дома, потому что Никифор добрался бы до нее, где б она ни была спрятана; а это Радька он подговаривал, лишь бы только из церкви выйти, а там бы он и улепетнул куда зря – пускай бы Радько после жаловался на него за обман. Так что ж? И тут сердечному Никифору неудача!.. Радько, крепко вздохнувши, говорит ему:

– Нет, брат, нет! Этого уже и не вспоминай. Рада бы мама за пана, так пан не берет. Пошел бы за тою чаркою не то, что к тебе, да хотя бы и за десять верст, так что ж? Во что я буду пить се? Видишь, живота уже нет. В горло волюю, а горелка выльется прочь и мне вкусу не даст, только такое добро испорчу! Пускай уже остается оно добрым людям!..

– Так ну-ка понюхаем табаку. Вот выйдем-ка отсюда, – сказал Никифор, – все-таки поднимайся на хитрости.

– И этого добра не употребляю. Отплачивают здесь добрым порядком за эту привычку!

– Как так? – спросил Никифор.

– А вот как, – говорил Радько. – Вот видишь, я на том свете крепко нюхал табак, так вот мне полнехонький нос червей; да так щечкуют и днем и ночью, что не то что по всему гробу места не найду. Чешется в носу да чешется, а не чихнешь.

– Видишь, как у вас поводится! – сказал Никифор, удивляясь. – Разве есть у вас какое наказание?

¹⁷¹ ...вместо шинкаря сидит целовальник, вместо осьмухи уже ходит кварта... – Целовальник – продавец спиртных напитков, доверенное лицо, отвечавшее за их узаконенную торговлю. Название обязано своим происхождением обычаю, по которому, вступая в должность, было принято целовать крест, честно исполнять свои обязанности. Кварта – мера жидкостей, штоф, кружка, восьмая или десятая часть ведра. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁷² На Масленой — на Масленой неделе, на Масленице. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Как-то уже не быть! – говорит Радько. – За табак нос отвечает. Вот я же любил тянуть горелочку, так все кишки разом и пропали, так что, хотя ведро влей, то не останется ни капли. Кто охотник был драться, тому тотчас кулаки отпадут и руки скорчит в три погибели. А женщинам, брат, женщинам, так что-то уже достается! Овво! Которая была щебетунья да болтунья, так только что явится на наш свет, да и думает, чтобы то по-старинному и тут тараторить, да примется за сплетни, за ссоры... А тут ей тотчас и села в рот жаба, да и квакает, да как вцепится в язык, что никакою силою ее и не оторвешь. А которая не только замужняя, да и девка, когда была моргунья, да глазами поводила на парубков ли или хотя и на нашего брата, да каждому тихонько признавалась, что только его одного любит, как со всяким женихалася; а когда замужняя, да мимо мужа другим рубашки мыла... да ленточки в воротник давала, да и другое что-нибудь... Так есть тут всем беда! Или которая жена пойдет противу закона да станет мужа бить...

– Так что такое? – скорее прервал Никифор.

– Так что? – говорит Радько. – Известно что: языку, чтоб на мужа не ворчал, достается свое; в него вопьется жаба, а руки сведет так, что и кузнец молотом не расправит.

– Знаешь же что, Прокофьич! – стал Никифор просить Радько. – Будь ласков; вспомни, что когда-то и я тебе на нашем свете помогал. Пойдем, сделай милость, на часочек ко мне домой, да вот это все, какое наказание есть всяким женам, расскажи моей Приське; не опомнилася ли бы она хотя немного, да не перестала ли бы мною управлять, да воли мне не давать, да еще и бить меня? Только на часочек пойдем. Большое спасибо скажу и очень-очень буду благодарить.

– Нет, Никифор! Видал я таких, – говорит Радько, – это ты меня хочешь в беду ввести. Я вижу твои замыслы. Ты только хочешь меня одурачить, лишь бы я тебя вывел отсюда, а там ты и сгинешь с глаз, да и ищи ветра в поле. Нет, брат, не пойду, и тебя не пушу, потому что и я радехонек хотя отведасть твоего вареника. Вот сколько лет, как я уже умер, а сякой-такой сын, если его и в глаза видел. Пожалуй, в Фомин понедельник наносят к нам на могилы мало ли чего: и кутьи или булок, яиц, пирогов; так ничего нашему брату из того и не достается. Тогда и наш отец Никита, выглядывая на то, что делается на кладбище, только чавкает да цмокает, да об пол бьется руками; чтоб-то делал? По усам течет, а в рот не попадает. А наш брат уже и молчи; так видишь ли? Как мне тебя пустить, когда я надеюсь от тебя разговеться вареником? Нет, казак! Выкинь из головы, чтоб тебе отсюда уйти. Молчи да дышь; а то, чтоб и тебя на лапшу не скрошили.

– Ну, еще же я тебя хочу спросить, – подумавши, говорит Никифор. – Будь ласков, покажи мне, где тут есть мой тесть или теща; я еще у них хочу проситься, не заступились ли бы они за меня хоть немного, чтоб я тут от вас не пропал, так что и бедная жена моя не будет знать, где я.

– Тесть или теща? – сказал Радько. – Поминай их как звали! Они, видишь, вышли из нашего прихода, хотя и тут лежат; они, знаешь, все умничали на том свете: все нищим подавали, да бедных снабжали, да с неимущими последним куском хлеба разделялись; так их все они и облегли, да ночь и день все их и увеселяют, а старики твои лежа утешаются и от нас совсем отстали, а про ваш свет и вспоминать не хотят.

Почесал Никифор затылок после таких рассказов да и говорит себе тихо:

– А чтоб вы пропали с вашею выдумкою есть вареники!

Да, наклонив голову, стал думать, как бы от них отделаться. Вот думал-думал, да и вздумал, да от радости усы себе разгладил, да и говорит себе:

– Хорошо же – будете есть шиш, а не вареники.

Вот как перецеловались все, да и не расходятся, ожидают разрешения. Отец Никита велел дьячку тушить свечи, а книги и все сложить, как было, а сам взял Никифора за руку и говорит:

– А ну-те, панове миряне! Идите за нами, станем разрешать. Вот как вышли все на кладбище, отец Никита и говорит:

– А ну, человеке с того света, вынимай свой гостинец, да смотри, чтобы ты поделил его на части; чтоб каждому, сколько тут нас есть, чтоб всякому достало: и старому и малому, всем поровну, и чтоб ни одному ни больше, ни меньше. Когда же не поделишь хорошо, что кому-нибудь не станет, или кому больше, а иному меньше будет, то тут тебе и аминь! Таки вот тут тебя и разорвем на маленькие кусочки. Вот что.

– Да то это за напасть такая? – крикнул уже на них Никифор, как рассмотрел, что тут, до чего дойдет, можно и уйти. – Как-таки можно таким маленьким кусочком вареника да обделить всю вашу громаду! Вижу, что это только ваши выдумки, чтоб человека погубить. Пойдем-ка к ратуше, да разбудим писаря, и хотя он со мною вчера крепко пьян был, да до сих пор и проспался; так он нам на счетах рассчитает, что не можно таким кусочком всех вас обделить.

– Але! Нам нечего к писарю, – зашипела вся громада. – Он уже нам не начальник, мы тут старшие.

– Когда же вы тут старшие, так цур же вам! – крикнул на них Никифор, да как засучит рукава, как сложит кулаки, как кинется в кучу, чтоб пробиться между ними, да уйти домой... так что ж! Кажется, и бьет, еще и крепко бьет: кого по морде, кого в грудь, и ногами толчет... Так, сердечный, только себе кулаки сбил и чуть ног своих об их ноги не переломал, а им ничего и не сделал: известно кость! Что с нею сделаешь? Таки ничего! Только пуше рассердил их... потому что как кинулися все на него, как заревут:

– Так уходить? Вот мы тебе дадим! Дели же, сякой-такой сын! А не то, вот мы тут тебя разорвем на куски.

Пришло Никифору совсем пропадать. Уж не выдумает, что ему и делать, да с испугу стал отпрашиваться:

– Пустите же, батюшки голубчики, пустите!.. Ох, не давите же меня вашими холодными костями!.. О! Да и озяб же я, вот так и трясусь. Будьте ласковы, вынесите мне шапку; забыл там: уши так померзли, что не то что!

– Какая тебе шапка! – отозвались к нему опять мертвецы. – Делай свое дело, видишь, уже не рано!

– Та-та-та-та! Теперь догадался, – шепнул себе Никифор да и глянул на звезды: Воз уже докачивается к восходу солнца. Вот, погладив усы, и говорит им:

– Вижу теперь, люди добрые, что с вами делать нечего. Я было хотел пошутить, но вижу, что вы этого не любите. Когда делить, так делить. А говорите: кто над вами тут есть атаман или какой старший?

– Нет никакого старшего! И все тут равны! Прошло панство! – загудели мертвецы.

– Так кто знает, сколько тут вас счетом? – спрашивал Никифор.

– Дели без счету, тогда увидишь, как кому не станет.

– Вот те на! – уже Никифор крикнул на них, все поглядывая на звезды. – Как вас разобрать? Иной, может, по две доли будет хватать на мою беду. Без счету не хочу. Считайте, тогда и делить буду.

Да подбоченился, как исправник, и отворотился от них, и ходит между ними, и не уважает, как и тот, мирской сходки.

– Да до которых пор это будет? – зашипели опять мертвецы. – Не будет тебе счету, считай сам.

– Лихо вашей матери! – говорит Никифор. – Считай, когда же я счету не знаю. Двадцать десять насчитаю, а далее тпру! Ну, так позовите из ратуши писаря, так тот вас пересчитает.

Да усмехнулся и сказал тихо:

– Нагайкою, как в степи косарей.

– Э! Да ты еще и торгуешься? Дели скорей, а то мы тебя разделим.

– А чтоб вы все издохли! – рассердившись, бранил их Никифор. – Как же вас всех в куче мне поделить? Садитесь-ка все по кучам: старые к старым, молодые к молодым, деды особо, а бабы особо; так же и парубки и девки...

– А парубкам с девками садиться? – спросил один парубок, оскаливши зубы.

– Вот я вам дам к девкам! Даже и тут у вас жениханье на уме. Прочь! – грозно прикрикнул на парубков. – Садитесь особо, а девки особо.

– Вот и рассудил! О, чтоб тебя! – зашипели все девки.

Кости только загремели, как начали мертвецы усаживаться, да все куча возле кучи. Старые деды и бабы еще-таки пристойнее были: те посадились розно. А что молодые бабы, девки, да-таки и мужчины, какие еще не очень старые были, и наиболее парубки, так уже между собою помешались, что и разобрать их не можно было. Да подняли между собою игры да смехи: рады, что вместе собрались, да разные выдумки, как будто когда-то им было на вечерницах; да так, что сколько старые, да и сам отец Никита их ни удерживал, так ничего и не сделают. А наш Никифор им и не мешает.

«Пуškai, пуškai! – думает себе, – да еще и рад, что они жужжат, как те пчелы».

Когда те усаживались, вдруг дети, что бегали около церкви, сюда же явились и бросаются к Никифору, и знай свое кричат:

– Нас мати родила, некрещеных схоронила, под порогом положила... Дай и нам, дядюшка, вареника; а как не дашь, защекочем до смерти...

– А зась, цыганенки! – крикнул на них Никифор, топнув ногой. – Вон отсюда! Вы не этого прихода. Пожалуй, есть вас много таких, что под пле тнем брошены и в кувшинах потоплены, то, как мне всех обделять, так это у меня не только вареника, да и волос не станет...

– Совсем! Обделяй скорее! – заклокотала мертвецкая громада, усевшись порядком.

– Хорошо, когда совсем! – отозвался к ним и Никифор, еще-таки посматривая на звезды. – Вы совсем, вот и я скоро совсем.

Вот и начал под ногами в снегу искать да и нашел щепочку; выковырял полвареника, показывает им и говорит:

– Натe же, люди добрые! Да поминайте мою доброту. Смотрите же, ешьте не спеша, чтобы кто из вас и не подавился; то еще мне будет беда: придет суд с лекарем вас свидетельствовать, да еще скажут, что я вас отравил, да припишут беду, что и полтиною не отделаешься. Натe же.

Да и стал расчипывать вареник и приговаривает:

– Вот это одному, это другому, это третьему...

– Кукареку! – закричал петух...

Шарах! Рассыпались наши мертвецы, и кости загремели, как будто кто мешок медных денег высыпал!..

Смотрит Никифор... Нет ни отца Никиты, ни пана дьяка, ни старых, ни молодых, ни девок, ни парубков... Остались на кладбище одни могилы, как и вчера были.

– О-го! – закричал Никифор на все это. Он это их нарочно манил до третьих петухов, слышавши от старых людей, что только «одни черти от первого крика петушьего исчезают, а что ведьмы, мертвецы, упыри, волкулаки и всякая нечисть шляется до второго, а иные и до третьего крика». Вот он только их и ожидал.

– Фить-фить!

Посмотревши кругом, не остался ли который на сем свете, Никифор посвистал да и говорит:

– А что? Наелися вареников? Не прогневайтесь. Хотели меня погубить; теперь на тощий желудок почивайте, да уже больше меня не заманите. Что же мне теперь делать? Идти домой? Жена не поверит, что ей буду рассказывать, да еще и побьет, думая, что, может, я где по шинкам ходил. Пока живые звонари к заутрене зазвонят, еще не скоро. Лягу тут спать, зазвонят, я тут и есть.

Вот прилег себе на бугорок, как раз подле калитки, куда народ идет, свернулся и захрапел себе порядочно.

Спал-спал, как вот слышит, что его дергают и таскают то сюда то туда. Вот ему и кажется, что это мертвецы рвут его на куски. Он со сна давай кричать на весь голос:

– Кукареку, кукареку! – чтоб мертвецы исчезли от него, да рассыпались, полагая, что то кричит петух. Потом слышит, что около него люди возятся да хохочут, и хотя его и дергают, да не рвут на куски, а еще и говорят:

– Никифор!.. Встань... Встань!..

Вот он глазами хлоп! – глядь! перед ним поп... Да уже не отец Никита, а отец Павел, живой поп, и дьячок пан Степан, и все люди, сколько их тут ни видит, все живые люди, и соседи, и приятели его; а тут и писарь из ратуши, с которым он вчера там исправно погулял.

Встал наш молодец, и глаза продирает, и чешется, и не знает, что ему говорить, что его и поп, и все люди бранят и пьяницею называют и что целую ночь таскался, да так, где случилось, там и валяется.

– Але, пьяница! – после надумавшись, говорит им Никифор. – Тут не пьяница, а вот мне какое привидение было. Вот слушайте-ка, и вы, пан отче, и вы, люди добрые!

Вот и начал им все рассказывать, как был вчера пьян, как пришел домой, как заснул, и как пошел к заутрене, и что тут с ним было, и как мертвецы хотели его растерзать за вареник, и как петух закричал, и как они пропали, и как он тут заснул...

– Да не слушайте его, пьяницы! – заворчал на них пан отец, видевши, что весь народ обступил около него и, разинувши рты, слушают его. Да и еще говорит: – Не слушайте, это он перепился да спьяна химеры погнал.

– Да какие тут, пан отче, честный отче, химеры? Именно так было, как я говорю. Вот сходимте-ка, то найдем и мою шапку. Она там, мертвецы не дали мне ее и взять; я же говорю, что она там. Я ведь не забросил ее нарочно. Да и лучше рассмотрите, нет ли где какой беды.

Вот бросились, пришли – ан в самом деле, где говорил Никифор, что положил шапку, там она и есть. А, впрочем, все было в порядке и нельзя было приметить, чтоб мертвецы ночью тут были.

Уж как удивлялись все люди про то, что рассказывал Никифор, а наиболее эта шапка, хоть кому, так на удивление была: как бы таки она зашла туда, кабы не он ее занес? А как бы он ее занес, если бы не приходил туда и не покинул там своей шапки?

Вот и стало быть, что это мертвецы так проказили. Так и старые люди говорят, что было когда-то, в каком-то селе, какому-то человеку так же привидение, «что думал к утрени прийти, а пришел... мертвецы собрались да в пост празднуют Великдень». Да оно ж так и есть: у нас пост, а у них Великдень. Да вот же и Никифору говорили:

– Вам пост, вам Чистый понедельник, а нам Великий день, когда ваш пост...

– Так, так и есть, так и есть! – заключила в один голос вся гро мада. Вот как так между собою люди толковались, а уже не кто, как старые бабы да-таки и молодые, – как вот и отозвался один человек и говорит: «Да Никифор вчера весь день ходил пьяный, без шапки, и я его спрашивал, где он пропил шапку, так говорит, еще как был утром в обедне, так в церкви забыл, спеша с приятелем к пану дьяку на разрешение».

– Да и я видел, – говорил еще один человек, – как он ее вчера в обедне клал и как пошел без шапки, и он на него смеялся. Это ему, пьяному, приснился такой вздор...

– Это ему приснилось...

– Это он спьяна химеры погнал... – загудела опять громада, которая, как какой человек скажет слово, то она, не понявши, что и для чего, тотчас и кричит:

– Таки-таки, так! – и во всяком деле так.

– Эге! Думаю, что химеры! Думаю, что приснилось! Нет, этому таки правда, – так говорила мне старая Куцайка, рассказав эту повесть, да и божилая, что этому, говорит, именно

правда была. – А мне, – говорит, – рассказывала про это покойная Кузнецова жена Оксана, а она слышала от Явдохи, дядины¹⁷³ старой, Потапихи, что после была за Денисом Буцем. Так тут, говорит, нечего сомневаться: правда, да и правда, что пришел было Никифор на праздник мертвецов.

Конец первой книжки

¹⁷³ Дядина – жена дяди родного. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком Книжка вторая (1837)

Делай добро, и тебе будет добро

Посвящается Тимофею Романовичу Подольскому¹⁷⁴

Никто не забудет голодного (1833 г.) года, что Бог послал нам за грехи наши. И как забыть такую беду, какой и деды наши не терпели, да не дай бог и внукам, да и всему роду и слышать про такую лихую годину! А рассудим еще и так: за грехи наши постигла нас кара Божия? Эге! Так и тут же видим, что наш отец, Царь Небесный, не до конца гневается на нас, а все ожидает, чтобы мы очуствовались, покаяться и обратились к святому его закону и творили волю его. Какую? Может, очень тяжкую для нас? Может, повелевает, чтобы мы своею собственною силою горы с места на место перетягивали? Может, велит горстями море выливать? Не знаю! (не думаю!) Только и есть его повеление: люби его, как создателя своего, и помни, что от него все имеешь: и свет, и хлеб, и имущество, и семью, и все, все, и что доброте и милосердию его меры нет; да люби всякого человека, как истинного своего брата и сына Божьего, потому что он, Господь наш, повелел в молитве именовать себя отцом, как всякий день читаете «Отче наш, иже еси на небесех», так мы уже ему так любезны, как дети отцу; потому-то и надобно, чтобы и мы любили один одного как брата, в нужде помогали, один от другого отвращали беду, и когда до чего придется, друг за друга страдали и беды терпели. Вот тогда-то мы угодим Богу и царство от него получим. Так не для того ли он нам и посылает беды, чтобы мы на деле учились добро творить? Пожалуй, на словах мы все бойки, все делаем хорошо; иной говорит: а я сякой, я такой, я милостив, я нищим подаю, я бедных обделяю... Приди же к нему в нужде, проси голодный сухаря, неимущий одежды... ей! и сухаря не даст и за руку выведет с хаты, когда еще и по затылку не стукнет. Вот тем-то беда учит познавать людей и от доброго перенимать доброе. Чрез беду знаем, кто каков, и по его делам таковым его и почитаем. Видел ли кто отроду, чтоб на хорошей яблоне да родились репки? Так и тут: чтобы о человеке, делающем доброе, шла недобрая слава? Сначала бы и ничего: сначала зашипят, как змеи, далее загудят, как злые шершни, потом залают, как собака, и бросятся, чтоб совсем человека съесть... так же Господь милосердный не доведет до того! Не доведет, защитит и перед всеми явит такого, кто, не боясь пересудов, несмотря ни на что и ни на кого, делал добро для своего брата, любя и исполняя закон отца нашего небесного! Тогда над таким и сбудется: «Делай добро, и тебе будет добро», и, хотя и не на этом свете – что здесь есть вечное? так уж наверно там, там, в царстве святом, где будет так хорошо, так хорошо, что и святые не могли изъяснить, а только написали нам, что ни око не видело, ни ухо не слышало, и вообразить так не можно, как хорошо и прекрасно будет тем, кои любили Бога милосердного и, любя каждого человека и помогая бедным в нужде, исполняли тем святой его закон.

А послушаем, как в злую годину управлялся Тихон Брус, и что он делал, и что заслужил здесь. Может, очень трудно и тяжело ему было, что, может, иной и не стерпит? Или что-нибудь делал такое трудное, что другой и не сумеет? Послушаем.

¹⁷⁴ Подольский Тимофей Романович – сведений об этом лице найти не удалось. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Растаяли снега, прошла половодь, сбежали реки, а еще земля и не оттаяла совсем. Люди, кто понимал, молчат да примечают; иные говорят: «Нужды нет; земля от солнца разом оттает; тогда пойдут дожди и все будет хорошо». А Тихон Брус послушает, что люди говорят, покачает головою да отойдет и скажет:

– Не знаю, как будет, а будет так, как Господь милосердый повелит. Тихон Брус был стар человек, разумный на все то село, где жил, да раз зум имел про себя, не очень с ним выхватывался. Нужно было его крепко просить, чтоб дал какой совет; когда же было что скажет, то уже оно так и есть, так и будет. Когда видит, что у иного отца сыновья поднялись ли на ноги или нет, а уже скорей от отца со двора, на свое хозяйство; то Брус и говорит:

– Не будет, дети, с таких хозяев добра! переведутся ни на се ни на то; одним волом не много сработашь, и разве целину одною парой пашут? Ну, ну! так и в хозяйстве: чем больше рук, то скорей и дело поспеет; а одними руками не много сработашь.

Смотри, как раз, так и есть: был у нового хозяина свой плуг, а то уже спрягается с другими, а далее – далее уже и пеший; была своя хата, а то уже пошел в соседи, в чужую избу и свелся ни на что...

Когда было Тихон видит, что с какой семьи жена как на улице, да на улице, все с женщинами да с проходящими лепечет; а дочки, бросив не выполотые огороды и немазанные хаты, да бегают то на улицу, то на вечерницы, то он махнет рукою да и скажет:

– Зарастут же и они недоброю славою, осыплется и все их хозяйство, как и обмазка от хаты.

Смотри, так как раз идет: и имущество, и добрая слава, все пошло за ветром!

Когда было увидит, что человек без бутылки идет в шинок (это уже известно, что не в доме с компанией да с добрыми людьми, а сам себе в шинке будет пить), то Тихон и скажет:

– Туда бездельнику и дорога! Вот увидите, что вот это сам ходит, а после и все свое имущество переносит.

То так и будет: разопьется, попропивает все, под плетнями валяется, а жена с деточками пошла по-под окнами милостыню выпрашивать.

Вот такой-то был Тихон Брус. И теперь он все тужит, все сидит и думает; то пойдет осматривать свой хлеб на гумне и в амбаре в закромах да в кадках. Осмотревши у себя, пойдет и по улице, заглядывает на гумна, где есть зажиточные хозяева, да, идя к дому, все что-то по пальцам считает...

Как вот: рано с весны стало солнышко припекать, как будто о Преполовлении¹⁷⁵, а еще только четвертая неделя поста. Какая была мерзлая земля, тотчас вся растаяла, да все же утром туманом, днем солнцем, а ввечеру морозцем вытянуло с нее всю сырость, всю влагу; вот мигом высохла вся земля до того, что пыль с нее идет.

Вербу взяла, Святую неделю отгуляли... а дождю никто и капельки не видал. Ну что делать! Не склавши же руки сидеть?.. Хозяйки вскопали огороды, хозяева обсеялись яровым... а дождя нет!

Только и слышно между людьми, как сойдутся к ратуше или к шинку беседовать:

– Не дает нам Бог дождя! прогневали Господа милосердого!.. Это беда нам будет!..

Каждый божий день идет обедня: то священник и велит всем припасть на колена, читает молитвы, а сам плачет... Где были колодези, и на пруде, везде воду святили... уже и Преполовение, а дождя нет как нет.

Оповестил батюшка-священник, чтоб вот в воскресенье, так чтоб все, сколько есть в селе людей, чтоб и старое, и малое, чтоб все собрались в церковь.

¹⁷⁵ Преполовение — половина, середина. Пополовениев день – среда четвертой недели после Пасхи, средопятидесятница. (Прим. Л. Г. Фризмана)

– Отслуживши, – говорит, – Божию службу, пойдем, сколько нас есть, в поле; старого и немощного ведите, малых детей несите, чтоб все шли; пойдем везде по полю, будем воду святить, будем нивы окроплять, будем молиться, чтоб нас помиловал отец наш милосердый, Господь праведный!

Так и сделали. Что же собралось народа, так, Господи, твоя воля! Уже точно, что никого по хатам не осталось. Детворе, которое бежит, которого на руках несут, престарелых и болящих под руки ведут... все, все пошли со св. крестом в поле... А в поле же что?.. Господи милостивый!.. Ужас! Куда ни глянь, везде темно! Озимое в осень от засухи не всходило; когда же какое и взошло потом на ниве, так и то засохло и под ногами хрустит. Видно, уже ясно видно было, что когда не помилует Господь милосердый, то не будет с него пути! А о яровом и не спрашивай!..

Освятили воду, помолбствовали... и что то: весь народ пал на колена... батюшка за слезами и молитву чрез великую силу может читать... кто, припавши к земле, даже всхлипывает... а малые дети, известно, те еще ничего не знают, глядя на старых, давай себе плакать в голос!..

Окропивши везде по полям, воротились домой... как вот стали облака собираться... все больше, гуще... потом и черные тучи появились: так совсем, как на дождь и гром... Народ обрадовался, и всяк говорит: «Вот Бог милосердый смилуется над нами, пошлет дождик, так и не пропадем...» Вот тучи все находят, все находят... как тут вновь поднялся бурей (бурный ветер) от восхода солнца, самый сухой ветер, что никогда не навевает дождя, а какой и соберется, то он его и разгонит. Этот-то ветер веял и с осени, веет и с самой весны, и теперь, как подул, так где и тучи девались, и опять прояснилось, и солнышко стало жарить перед Вознесением¹⁷⁶, как посреди лета о Прокопиевом дне (8 июля).

Тихон же, еще заблаговременно, то в дело, что с своими сыновьями молотит хлеб, который был у него на гумне, он же был себе крепко богат. После, как далее-далее видимо, что совсем беда, он, как собралась сходка на совет, что им делать, как не дай бог что и вовсе хлеба не будет, так он тут и отозвался:

– А что, пан голова, и вы, панове громада! Не знаю, как вы, а я бы себе так думал: вот тот хлеб, что с магазейна добрые люди разобрали, не нужно ли бы его пополнить?

– Вот это так! – загудела громада. – Когда человеку беда, так тут с него последнюю кожу дери. Хотя и есть у кого хлебец, так и последний отдать? Вот так ты выдумал! Чем отдавать хлеб в магазейн, так он и себе пригодится.

– Послушайте же меня, люди добрые! – говорил Брус. – Я не должен в магазейн ничего, и за себя и сыновей своих взношу заблаговременно; а примером сказать, как бы с меня следовало донять четверть хлеба¹⁷⁷, то уже известно, что тою четвертью я недолго пропитаюсь, а как ее внесу, и всяк то, что должен, внесет, так вот и соберется его немало и добрым людям его надолго станет, лишь бы по порядку обделять...

– Да не можно сему статься, – стали крепче покрикивать такие, что более прочих должны были в магазейн хлеба. – Отдам свое, да пойду к сборщикам кланяться, да из-за своего добра просить; да еще, дадут ли или нет, кто его знает? – и все прочее шумела громада, и заговорили все, ничего и не разберешь.

Слыша это, старый Брус махнул рукою, отошел себе от них, сел на призьбе¹⁷⁸ подле волостного правления, наклонил голову, и все что-то по песку палочкою ковыряет.

Советовались люди, советовались долгонько все об одном: что им в такой беде делать? Советуются и ума не приберут. Без хлеба жить не можно, а хлеба нет; живым в могилу

¹⁷⁶ *Вознесение* — Вознесение Христа на небо на 14-й день после Пасхи. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁷⁷ *Четверть хлеба* — здесь: мера жидких или сыпучих тел, равная четвертой части какой-либо измерительной единицы. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁷⁸ *Призьба* — завалинка. (Прим. Л. Г. Фризмана)

ложиться не хочется, а не придумают ничего, что делать, чтоб пропитаться. Далее – нечего делать! – опять к Тихону.

– Ну же, дядюшка! – говорят ему. – Скажи, что нам делать, чем беду отвести?

– Что я знаю? – говорит он. – Молитесь Богу! Когда отец небесный не умиосердится над нами, то что мы можем сделать? Без его святой воли и маленькая комашечка ни народится, ни умрет, а и того больше человек, что, как читают в церкви Божие слово, «и волос твой не падет без его веления». Так что тут и делать больше, как только молиться.

– И молились и молимся, как, сам здоров, Степанович, знаешь; так Господь на нас прогневался и не посылает нам милости своей.

– Тем-то и горе, что и сам милосердный Господь, милосердию которого и меры нет, так и тот не смиловался над нашими и также над детскими слезами. Ведь вы же слышали, как батюшка-священник нам рассказывал, как в старовину Господь прогневался на людей в одном городе, что отступились от создателя, царя своего, да начали пьянствовать, бездельничать, воровать, промеж себя убийство о всякие скверные дела делать, и объявил им, что на всех вас, говорит, пошлю огонь с неба и пожгу всех; когда же обретется между вами одна праведная душа, так через такого только всех вас помиую. Как же не нашлось между ними ни одного праведного, то они все и погибли на веки вечные. Так и у нас теперь: нет у нас ни одной праведной души, чью бы молитву Бог услышал и нас помиловал. За грехи наши нас Господь наказывает. Хорошо ли мы перед ним живем? Ходим ли в праздники в церковь? Скорее куда на беседу, или у шинок, а не в дом Божий. Когда же и придём, то молимся ли, как должно христианам? Рукою мотаем, а мыслью везде летаем. Помогаем ли кому в нужде? Скорее последнюю рубашку с человека, да хоть бы он и приятель, сдерем, а своего и лоскутка не уступим. За грехи наши послал было Бог холеру, так тогда немного и очувствовались. Как же минула беда, так и не говорят, что то была беда от Бога за грехи наши и что он нас помиловал только по милосердию своему, а выдумывают, будто то турки колодези отравили, будто немцы лекарей подкупили, чтобы весь народ выморить. За грехи и теперь терпим; плачем же и говорим: «Умиосердись, Господи, и помилуй нас грешных!»

– Так вот это так руки сложить, да могилы выкопавши, так и ожидать голодной смерти? – сказала громада.

– Нет, панове громада! – говорит Тихон. – По моим мыслям не так. Слышите, что в церкви читают; не пожалей ничего для своего брата: а брат наш всяк человек, хотя с нашего села, хотя с другого, хотя из города, хотя немец, хотя турок, все Божие создание. А что наиприятнее Богу, когда за кого, не только что имения лишишь ее, но и душу положишь? Вот теперь пришла такая година, чем можем умиосердить Господа, отца нашего, за наши грехи и отвести беду от себя и от всех. Вот что сделаем: сколько у кого есть хлеба, внесем весь до зерна и до пылинки в место; приставим стариков, чтоб они его сохраняли, и каждую неделю или месяца чтоб давали на каждую семью, по чем там придется на душу, только чтоб пропитаться, а не лишнее; как я смотрю, там у нас кое у кого, слава тебе господи! столько хлеба будет, что, собравши в место, да с порядком, можно будет пропитаться до нового. Кому надобно на семена, чтоб осенью посеять, попросим, чтоб с магазейна отпустили, да и то только беднейшим, а побогаче и на стороне себе достанет. А вы, пан голова, перепишите, у кого сколько хлеба возьмется; а как уродит Бог новый, тогда рассчитаете, по сколько придется с души, то сберем вместо и отдадим каждому. Послушайте меня, сделаем так: вот прежде всех отдаю все, что есть в закромах, и что только найдется у меня, все изнесу, только изберите кому отдать.

– Послушать его? – завопили некоторые побогаче. – Это, чтоб свое отдать ни за се ни за то, а после и отхаживай свое доброе? Сказано: отдай руками, да не выходишь и ногами... не надобно ничего... сами себя пропитаем...

– Але! Пропитаем, – опять-таки говорит Тихон, – благодарите Богу милосердому, у кого есть чем пропитаться; да в такую годину оглянитесь и на неимущих, откуда они возьмут? чем

пропитают маленьких деточек да старых и немощных родителей?... Эй, люди добрые! Не забывайте, что вы есть христиане православные! Думайте, как лучше. Будьте милосерды, чтоб и Господь был к вам милосерд!

– Не будет сего!.. теперь всякому до себя... – загудела громада, и начали расходиться. А Тихон остался там-таки на призьбе, наклонил голову, тяжело вздыхает и все палочкою ковыряет землю.

Вот, немного погодя, воротились к Брусу кое-кто и сели подле него. Вот один из них и говорит:

– А что, Степанович! Как мы посоветовались между собою, так вот что сделаем: вот вас здесь семь хозяинов; сложимся, у кого есть сколько денег, чтоб можно было купить по малой мере ста три четвертей хлеба. Давай вам порядок: купим и ссыплем; а как нужда людям придет, вот мы и станем продавать, смотря на цену, какая по сторонам будет, да наложим еще лишнего по полтине или и по рублю, то ей! разберут чисто весь, потому что беда всякому придет, не пожалее рубля, лишь бы не ездить далеко. А мы, как выручим свое истое, да и бросимся, купим в России подешевле, да опять с барышем будем продавать. Вот так-то и зашибем славную копейку...

Тихон как вскочил с места и, начав креститься, говорит:

– Господи милостивый! Не доведи меня до смертельного греха, чтобы я кровь христианскую стал пить как воду! Благодарю Бога милосердного, я не жид и не татарин, чтобы мне от людской беды корысть получать! Нет, люди добрые! Когда хотите закон Божий исполнять, делайте добро братьям своим, не думая об анафемском барыше. В этом деле Господь подает заработок в царствии своем; так и не надо думать, что как бы нам лучше; а только то, что как тому помочь, кто в нужде.

– Как так делать, то деньги истратим и не только прибыли не будет, да и чистое потеряем. Как себе, Степанович Тихон, хочешь, а мы свое дело будем делать, как знаем.

Сказали эти люди и разошлись.

Долгонько ещё сидел наш Тихон подле ратуши и что-то все думал; потом встал, тяжело от сердца вздохнул и пошел себе тихим шагом домой.

– А ну, старая, – так говорил он жене своей, пришедши домой, – какую тебе и дочкам нужно одёжу, самую не важную, то себе отбери и берегите как глаза, чтоб на год и больше стало, потому что не буду вам ничего нового делать, даже пока вас Господь не помилует; а лишнее все подай.

– А тебе на что? – спрашивала жена.

– Але! Я-то уже знаю на что. Отбирай же скорее, да и подавай сюда.

– Что ж там отбирать? Это бы то и плахты, и юбки, и наместа, и мои очипки?

– А то ж! Все, до чего теперь дела нет, все подай мне.

– Да что ты это выдумал? А с чем же я или дочери в праздник выйдем в люди?

– Прошли наши праздники и гулянья! Теперь будем думать, как пропитаться да и людям помочь дать... да полно долго болтать: когда не хочешь вынимать, так подай ключ от сундука...

Еще Тихон и недоговорил, а уже Стеха, его жена, и рванула ключ от пояса, и кинула ему под ноги, а сама и выбежала к дочерям, чтоб им пожаловаться; потому что знала натуру своего старого, что когда что надумал, то хоть спорь, хоть бранись, а уже он от своего не отступится; и уже не будет много говорить и настаивать, а молча сделает, как хотел.

Поднял Тихон, не говоря ни слова, ключ, отомкнул сундук и все-таки молча стал разбирать. Что им откладывает, что особо отбирает, а как кончил совсем, поднял свое да, идучи в комнату, говорит жене и дочкам:

– Сложите же хорошенько, что вам осталось.

А Стеха с дочками, вышедши в сени, навзрыд плачут, и как будто – сохрани бог! – по мертвом голоса; а Тихон их и не уважает. Как же пошел он в комнату, они бросились смотреть, что он им оставил.

– Ох, моя годинонька лихая да несчастливая!.. С чем же я теперь на свете осталась?.. Позабирал и очипки и серпянки... Чем же я прикрою свою головушку?.. Нет и байковой юбки... нет...

Так приговаривала Стеха, а потом и завывала.

Старшая дочь Наталка туда же за нею и плачет, и приговаривает:

– Нет моего наместечка... нет и платочка бумажного... и синих новешеньких чулочек... и серьги ж то взял!..

Средняя Феська то же пела:

– Запасочка ж моя колисчатая... ленточки мои блакитные (голубые)... платочки вышитые... башмачки красные...

Мотря наименьшая еще б и малая девчонка, да и та туда же за ними голосит, что и ее новую плахту отец взял.

Еще не хорошо и уложили, что осталось, а уже матери и нет; уже и побежала к соседям, и к кумам, и к атаманихе, и к писарьке, и к понамарьке и всем, всем жалуется, что муж забрал у неё и дочек все – и что он будет делать, она не знает; а что они теперь остались хуже нищих; что всю одежду забрал, и кресты, и наместы, и рушники, и всякие подарки, что она было припасла за дочками давать, все, все забрал – и что ей теперь на свете делать, сама не знает... Было там всего; были там добрые помины нашему Тихону!

А он молча свое знает. Сложив женино и дочернее все в место, собрал и сыновнее, какие лучшие пояса, и шапки, и юпки (чекмени), да и поехал по селам, где слышал и где знал богатеньких людей; да кому плахту, кому шапку, кому все прочее, все же то заложил, хотя и не так за великую цену, да все-таки промыслил тех деньжонок немало.

Не успел возвратиться домой, уже и бежит за ним десятский, чтобы шел в ратушу к голове. Только что увидел его голова, так и напустился:

– Как, ты переводишь имущество да собираешься на слободу (перейти в другое селение)? Это все так жоночка ему в уши натурчала. О! На этот торг они пешком бегут!

– Да не сердитесь же, пан голова! И не беспокойтесь так, – стал Брус ему говорить скромно и учтиво, – не так это было. Это мое дело: продал ли что или в заклад отдал, не мешайтесь. Я здесь весь перед вами. Когда на слободу идти, то сам не пойду: я уже стар человек; а собираясь идти, пришлось бы брать и жену, и детей; а этого без начальства да без их воли не можно; а видите, они вовсе не хотят. Это, я вижу, они вам и нажаловались; но видите сами, что этому не можно стать. Так, когда нет на меня никакого больше доносу, то и отпускаяте меня: мне некогда.

– На что же ты продаешь имение? – спрашивал голова.

– Да нет же; не продавал еще ничего; а только заложил кое-что; надо было деньжонок...

Хлопотал, хлопотал около него голова с писарем, да видят, что не с чем к нему привязаться, так и отпустили.

Не покой же нашему Брусу и дома! Только что войдет он в хату, то Стеха и поднимет шум и крик: зачем отобрал вещи и ее, и детские; зачем их заложил, где деньги девал?.. То Тихон молчит, молчит, и когда в хате нет никакого дела, то и пошел себе.

Сядет сердечный где-нибудь себе на улице, куда проезжая дорога лежит, и когда увидит чумака¹⁷⁹ или так проезжающих, то тотчас в расспрос – и спрашивает, с каких мест и как там поводится? Каковы хлеба, какая цена на него, и чего ожидать далее?

¹⁷⁹ Чумака – здесь: извозчик. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Даже слезы его проймают, что, откуда бы кто ни ехал, так все одно, все беда! Не было дождя с самой весны, все в полях выгорело, народ в унынии и не знает, что делать! Только и слышно, что есть хлеб в Курской да в Орловской губернии, да и то цена на него везде поднимается.

Прошла Троицына неделя¹⁸⁰: не посылает милосердый Господь дождя, хотя и молится народ. Прогневали Царя Небесного! Не на что уже надеяться: пропало все в полях и в огородах! Беда людям, беда и скотине! Не будет вовсе хлеба, ни в зиму огородных кореньев, не будет и скотин корму!..

Тотчас после заговен в первый день Петрова поста, на самые розыгры, только что вынули хлеб с печи, Тихон и забрал его весь к себе. Стеха смотрит, что с того будет, а сама так и люзует. Приготовила обедать: Тихон вынул хлеб, порезал на куски и на безмене привесив, чтоб каждому досталось на часть по два фунта. «Нате, детки, вот это каждому, тут и на обед, и на полдник, и на ужин. Прячь сам свое, а уж больше не дам». Сказал да и себе и жене столько же отвесил, а остальное спрятал у себя.

Стеха тотчас за свое, навзрыд.

– Отроду, – говорит, – этого не было, чтоб хлеб развешивать на души... как будто колодникам, так и нам, по твоей глупой голове пришлось...

– Отроду же и беды такой не было, – говорит ей Тихон, да все тихо, думая, что не ускромит ли он ее тем, хотя немного. – Вот и старее меня люди есть и сами не видели, и от отцов не слышали такой беды. Ешь, старая, да благодари Бога и за то. Господь милосердый знает, что далее будет!

– А чтоб никто не дождал, чтоб я вешанный хлеб ела! По-под окнами пойду, а не хочу твоего хлеба, что ты даешь и трясешься.

– Нет же, Стеха, неправда, я не трясусь, а хочу, чтоб как сегодня вдоволь есть хлебца, так чтоб Господь благословил и по всяк день по столько же, пока беда пройдет. Повидишь сама после, что нечего больше делать. Не церемонься, ешь да хвали Бога...

– Чтоб ты в род твой не дождал, чтоб я ела! Не хочу, не хочу и не буду есть!..

Да с этим словом шасть с хаты (а мошну¹⁸¹ не забыла-таки схватить), да к женщинам, да прежде всем рассказала, как-то Тихон стал скуп, что уже и хлеб весом им дает; а после туда же с женщинами, давай складку делать на горелочку¹⁸²; видишь, надо гулять – праздник. Какой же то праздник? Розыгры. Вот так-то бабы навывдумывали! Видишь, то все были праздники, то святки; а как уже надо за дело приниматься, так вот у них и розыгры. Чего-то они не выдумают, лишь бы гулять да горелку попивать!

Когда же Стеха побежала с хаты, а Тихон и говорит:

– Спрячьте, детки, материнскую долю, ведь придет не обедавши, захочет есть, а я уже больше не дам.

Так и вышло. Пришла ввечеру, хоть и пила там сколько горелки, а таки есть никто не дал. Нечего делать: принялась и за отвешенный хлеб.

Тихон не очень ей уважал. Утром опять отвесил каждому и говорит жене:

– Хоть ешь, хоть на вечер спрячь.

Не ругала же она его нимало! Куда! на все заставка (корка). Было и ему, было и всему роду; далее было и тому, кто и безмен выдумал, и кто его продает... а таки, нечего делать, свой паек отбирала исправно.

Эге! Хоть же и сама видела, что хорошо выдумал ее муж: потому что у них, было, хлеб пекут три раза на неделю, а уже за Тихоновым порядком только два раза, и муки меньше идет, потому что Тихон так все рассчитал, чтобы как раз на их семью становилось и нигде чтобы ни

¹⁸⁰ Троицына неделя – неделя после Троицына дня. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁸¹ Мошна – мешок для хранения денег, кошелек. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁸² Складку делать на горелочку... – собирать в складчину деньги на водку. (Прим. Л. Г. Фризмана)

пылиночки не девалось; а все-таки была ему добрая молитва, как с амбара весом берет муку, как выпеченный хлеб ему отдает и как от него фунтами на день получает. А Тихон слышит все это и не уважает; думает об своем.

Кто занимал у него деньги, ко всем бросился; с кого возьмет деньгами, самое истое, а росту (процентов) и не спрашивает и не берет, хоть кто и дает; пускай, говорит, когда-нибудь отдашь, теперь всякому нужда. Когда же кто не может деньгами уплатить, то он берет всем по согласию: возьмет и одежду, и воз, и ярмо, не откажется ни от самого бездельного, лишь бы хоть что-нибудь да взять, потому что у него было что-то на уме. Берет, когда до чего человеку приходит, что не сможет зимою прокормиться, берет, говорю, и скотину; и когда она в такой цене, что долгу меньше, то еще хозяину и доплатит. Да так и собрался: то своих было волов десять пар, а теперь уже у него было двадцать пар; есть и возы и все к ним нужное. Его два сына, а то взял пять мальчиков, сирот, таких, что еще до какого времени, а уже им пришлось по-под окнами таскаться, а он их взял и на свою одежду, и на харч и говорит:

– Как подрастут, наделю их всячиною и хозяевами устрою, когда-то еще жив буду!

Люди, смотря на Тихоновы сборы, смеются с него в глаза.

– Что это ты думаешь? – говорят ему. – Тут дай бог самому с семьей пропитаться, а он еще и дармоедов набирает: корму совсем на зиму не будет, а он отовсюду скотину собирает. О, чтоб его с его мудростями!

Да даже слезы утирают смеясь, а он и не уважает:

– Что же, – говорит, – когда мне кажется, что так надо делать? Наступила и жатва. Не приведи господь к такой жатве до конца веку всякого православного христианина да и самого турка, француза, немца и таки всякого человека! То не жатва была, а горе и беда!.. Никто и не думал серпов готовить. Выйдут на ту горькую ниву, муж косою машет, машет, далеко пройдет... а жена далеко за ним подбирает, да насилу наберет сноп, да такой, что и малое дитя до дому донесет. Так как выкосят ниву, свяжут снопы, сложат в копны... так и копны смочат горькими слезами, потому что было посеяно, примером говоря, шесть мешков, а когда вымолотятся семена, то и хорошо; потому что снопы такие, что за ветром полетят: одна солома. Много и таких было, что и косою не захватить; вырывали люди, выбирая по стеблышку... так тут ожидай добра!..

Вот тогда уже Брус принялся за свое. Поготовив все, что надо было, пошел с сыновьями и батраками в церковь, отслужил молебен, помолился Богу и попросил батюшку-священника к себе. Что бог дал, пообедали, запрягли возы, батюшка освятил воду, окропил Тихона, сынов, батраков и возы, да и тронулись с божьею помощью.

Хоть Тихон и не говорил никому, куда и зачем он едет, хоть ему кое-кто снова смеялись и упрекали – один скажет:

– Собрался наш Брус на Дон за рыбою, вместо весны, посреди лета: лишатся и волов и всего, сам с кнутиком воротится, потому что в самую голодную сторону поехал.

Другой скажет:

– Тихон видит, что беда, да и бросил жену с дочками, а сам пошел на слободу.

Иной еще что приложит, так что совсем человека осмеяли; однако были и такие, что догадались, что это Тихон задумал и куда и зачем поехал.

– Видишь, – говорят, – что он выдумал! Вот это так; теперь заработает копейку! А ну же, примемся и мы за то же.

Вот те-то люди, что подговаривали Тихона хлебом торговать, так они-то так советовались. Вот и сложились суммою, собрались и поехали. Да, когда б же то искали, где хлеб дешевле; а то в первом месте, где случилось, лишь бы скорее, там и набрали, не рассуждая о цене, да даже по пятнадцать (рублей за четверть) заплатили и привезли домой, а тут уже и беда пришла!.. Уже у кого что было, поели, а нового – даст бог! Негде деваться; надо покупать.

Вот они и установили цену: семнадцать (рублей за четверть)! Видите, захотели вдруг барыш слупить и разом разбогатеть.

Так тут им как раз Тихон с фурами и нагрянул. Он ходил не на Дон и не в Черноморию, и никуда на слободу, а пошел в Россию, прямехонько в Курскую губернию, где уже он хорошо прослышал, что Бог благословил хлебом и на все хорошим урожаем и что, хотя и там цена поднимается, да еще-таки можно, умеючи, захватить дешевле против людей. Вот там-то Тихон кидался сюда-туда. Ездит, разведывает, расспрашивает и напал на доброго человечка, что ему уступил хлеба по двенадцать на всю сумму; «у него деньжонок было порядочное число – тысячи, так что может, три; да еще с таким договором, что, когда потребуется еще столько хлеба, то обещался, против цены, взять еще двумя ниже».

Вот это же Тихон, что на свои возы наклал, а что нанял к себе фуршиков, да и доставил все домой. Что у себя, а что у людей нанял амбары (тогда везде был простор), ссыпал и муку и зерном, что привез, да и стал прислушиваться, что и как у них в селе поводится.

Услышавши, что те люди, что прежде его повезли хлеба, установили цену по семнадцати, он собрал других, да и говорит:

– Недоброе это дело! еще только люди начали бедствовать, так тут с них и тянут! Нет, не проходится. Когда еще заблаговременно, да вытянешь у человека последнее, то что ему придется делать к весне, как хлеб еще дороже будет, а достатку ни у кого не станет: да и великий же грех у человека при нужде последнее тянуть. Погонимся за барышом, а сколько крови братней напьемся, потому что всяк из нас, видевши, как жена, дети, будут приставать да хлеба просить, так тут не только все имение, а именно кровь свою, душу отдашь, чтоб только они не бедствовали от голода. Надо думать, как лучше. У меня хлеба своего есть там что-нибудь; берите, люди добрые!..

– А как у тебя, дядюшка, цена будет? – спрашивали у него.

– Какая цена? Как это можно, чтоб я хлеб, что мне Господь безо всего послал, да стал бы я своему брату продавать? Нет, не будет этого. Берите на пропитание из моего домашнего, а купленный будем сеять, как придет время.

Послышавши это, люди так и шарахнули к старому Брусу.

– Как нам, дядюшка, будешь давать хлеб?

– А вот как: держи свою торбу... вот насыпал... вот и иди себе; тут тебе на месяц; у тебя четыре души; смотри, чтоб стало. Приходи через месяц, опять столько насыплю; а когда не станет, то и не приходи; прежде месяца не дам.

– А деньги?..

– Деньги неси домой. Продает ли кто божий свет? так и тут. Бог послал хлеб святой всем людям, а не мне одному; за что же я с тебя буду деньги брать.

Иной скажет: вот же, дядюшка, ты мне на пять душ дал, а у меня пятое, еще маленькое, четвертый годик...

– Говори! Эка голова! Что ж, что четвертый годик? Разве же оно не хочет есть? Такое съест больше великого. Ты знаешь беду и видишь наше горе, так ты и ешь понемногу, и перетерливаешь работая; а оно что знает? Захотелось ему поутру? Дай, мама, хлеба. Пообедало себе там, опять снова: дай, мама, хлеба; да все хлеба, да хлеба; рот его не затворяется: все ест, как та, прости, Боже, греха! саранча. Еще бы в добрый год запихнул бы ему рот огурцом, или грушами, или картофелем; теперь же этого ничего нет, а оно того не знает и не смыслит уважить, да знай просит. Как, таки на его долю не дать? Берите, берите.

Много было работы нашему Тихону! Народ так и плывет к нему; его сыновья и батраки то и дело, что отвешивают, а он только раздает... да не всем же без разбора и дает: иного за руку дерг! Да и говорит:

– А подожди, сынок! И ты за хлебом? Ты еще парень молодой, жена тоже, деточек даст Бог; идите, зарабатывайте, а от неимущих не отнимайте.

А иному говорит:

– У тебя, кум, и у самого хлеба благодари Бога! так зачем ты у бедного долю хочешь отнять? Ты и сам сможешь частичку ему подать.

Эге! Да и отучил, кому не должно, чтобы приходили к нему; а раздавал только бедным да у кого, при недостатках, велика семья да отец и мать старые, а дети маленькие; да еще когда кто в семье больной. А что малых детей приучил, так изо всего села!

Только что даст бог утро, то все к ему бегут с большим шумом:

– Дедушка! дай хлебца! – то он их за руку, да в хату, а там уже хлеб напечен и на куски порезан.

А кто же его напек? Не Брусиха ли, Стеха? Не знаю! таковская! И сама не принимается и дочкам не велит; а что уже мужа своего так величает, сколько может! Он у нее и дурак, и божевольный (сумасшедший), и разоритель, и что через него она с детьми в нищие пойдет, что он все имущество раздаст, проест... и все ему высчитывала. А он и не уважал; как видел, что жена и сама не слушает и дочкам не велит, так он нашел бедных трудолюбивых женщин да и нанял их хлебы печь, каждый божий день, на раздачу детям и нищим, что уже пошли по под окнами со всех сел.

Что же делали те люди, что накупили хлеба, да располагало его с барышом продавать? Эге! чешут себе затылок, да чмокают, да тихонько бранят все-таки того же Тихона, что им такую пакость дал! Заперли свои амбары, сняли весы и разошлись.

– Пускай, – говорят, – Брус справляется: недолго будет чваниться; скоро весь решит, тогда бросятся и покупать, да негде больше, как у нас. Тогда смело по двадцати будем брать, потому что уже везде такая цена. Вот и возьмем свой барыш. Увидим!

Пришла пора сеять, а у людей нет ни зерна. Тихон отворил свои амбары и говорит:

– Берите, люди добрые, сколько кому на посев нужно. Не жалейте зерна, кидайте его в землю; через зиму нас Бог пропитает, а как не посеем, то Господь за леность нашу накажет нас еще горше. Это бы мы совсем перестанем верить, что Господь наш есть милосерднейший, когда по боимся сеять зерно, хотя нам и нужно. Он наказал нас как Царь Небесный за грехи наши, да и помилует как отец детей своих. Пошлет нам урожай такой, какого и давно не видели, за то, что мы как будто в его святые руки кинем зерна.

– А яка цена буде? – спрашивают люди.

– А цена такая, что я не на деньги, а в отдачу. Родит вам Бог, отдадите, сколько кто возьмет.

– Да как это можно? В такой год, да без денег?

– Слава тебе Господи! Я не жид и не цыган; я знаю закон христианский. Чего бы я достоин был, если бы где, пускай Бог сохранит! На пожар, да я вывез бы воду, да тут бы ее ведрами продавал. Так и это. Как можно пробыть человеку без хлеба? Как же, в такой нужде, да его бедным продавать, да еще в дорого? Бог того побьет на сем свете, и на детях, и на имении; а на том что еще будет? Берите же хлеб святой да кидайте его скорее в мать нашу, землю, чтоб по Божию велению она нас на тот год прокормила.

Это же так Тихон управляет; а там враги на него, так чего бы то не выдумали, чего бы не сделали, чтоб его утопить, совсем съесть! Крепко же им досадно было, что они изубыточились, накупили хлеба дорогою ценою, чтобы при людской нужде да хоть бы вдвое его продать, а тут этот, такой-сякой, старый дед, не дает ни пылинки продать; там раздавал, пускай уже свой, всем даром; а то уже и купленный, что уже знаем, что именно по дорогой цене покупал, и тот раздает без денег, как бы в займы... Те, те, те, те!

– Постойте-ка! – говорит из них один. – Я его подловлю. Не будет величаться. Сведу его к тому, что и сам по-под окнами пойдет и сухарю рад будет...

А тут вдобавок жена нападает, так что бедному Тихону и отдыху нет.

– Сякой-такой, лысый дедуга (старый хрен)! ум отстарел. Обобрал деточек и меня на старости да все же промотал на тот хлеб. Тут бы, в такой год, и получить копейку, а он людям даром раздает. Тю-тю, дурак! Видел ли кто такого глупца? Черт знает, кому раздает утром и вечером, а мы, вся его семья, голодуем да едим отвешенный пай, как арестанты... Вот так ты одурей на старости!

То Тихон было слушает, слушает; после схватит себя за голову, да «а уже мне эта морковь!»¹⁸³ скажет, да скорее из хаты к весам, где его сыновья раздают хлеб. Там ему только и весело, потому что сам видит, из какой нужды Бог ему дал людей выкупать.

Пока это происходило, дошла чрез начальников такая весть до самого царя, что в такой и такой губерниях великий неурожай, что хлеба вовсе нет и что совсем голод. Господи милостивый! Как-то тут пошло! Тотчас наехал исправник с дворянами, и переписали, сколько у кого в семье душ, сколько есть у каждого хозяина хлеба, и рассчитали, на сколько его станет, да и дали на всякую семью бумагу, что как у кого не станет своего хлеба, так можно ему брать с магазейна по столько и по столько на месяц. У кого же не было ничего, тем приказано тотчас давать. Назначили к магазейнам начальных, да все из дворян и все грамотных, чтоб и счет знал, и толк дал. Так же по магазейнам не очень-то полно было хлеба, потому что в хорошее время кто его и думал вносить, хоть было голова и приказывает и десятские покупают, так никто же и не думал. А зачем вносить? говорят бывало: чтоб погнил в закромах? Слава тебе, Господи, голодовать не будем. То-то и есть! Пока человек в добре да в счастье, так он думает, что уже ему и все так будет, и не тужит ни о чем, и не готовит себе ничего; как же постигнет беда, так тогда и о полы бьет руками и волоса рвет, да уже не поможет, хоть всю голову оборви. Так и тут было: что бы делали, чтоб пополнить магазейны, да ба! Тогда вспомнили, что и Тихон советовал, чтобы собрать весь хлеб с тех, кто должен был, – не послушали же.

Пока были начальники в селе, то люди промеж себя посоветовались и – негде правды देвать! – и сам голова к тому совету пристал, чтоб про Тихона никто ни словечка, что он пропитывает людей; а то говорили, как дослышатся, то не будут из магазейна никому отпускать. А это за тем так устроили, чтоб про Тихона не прошла добрая слава и чтобы ему иногда от начальства не было какой благодарности. А Тихон и не уважает! Он еще и радехонек, что про него молчали. И как спрашивало его начальство, много ли у него хлеба. так он сказал:

– Благодарю Бога милосердного! Пропитаюсь до нового; мне не нужно никакой дачи.

Про купной же хлеб, как спросили его, на что он и для чего и по какой цене он намерен его продавать, так Тихон такой ответ дал:

– Увижу еще, что далее будет, тогда и скажу.

Как же его недоброжелателей тех, что накупили прежде хлеба, да за Тихоном не досталось им продавать, спросили, так те сказали:

– Кому нужда будет, тому будем продавать по двадцати и по пять (25). Исправник махнул рукою, да и записал их и сколько в них было хлеба, и то записал, как они, имея свой хлеб, просили из магазейна, потому что, видишь, то они не своим считали, а купленным.

Как же рассчитали, что того хлеба, что в магазейнах, не станет надолго, то и написали об этом царю; так тотчас царь таки из собственных своих, из своей царской казны прислал денег, чтобы, как можно скорее покупали хлеба, чтоб было чем и пропитаться и, что еще нужнее, посеять для будущего года. Вот-то денег прислано! Нам и тысяча рублей, и то сумма страшная, что из нас кому-то, кому-то достанется, в каком-то годе с какими трудами приобрести; а то прислала таких тысяч тысячу, как наш батюшка-священник, да-таки и писарь говорят, что то называется миллионом, что нашему брату не то чтоб суметь его пересчитать да и мыслями додуматься, сколько в том миллион есть рублей, никак не можно! Да таких-то миллионов прислано в каждую губернию не один и не два... А сколько же губерний таких, что Бог прогно-

¹⁸³ Когда жена мужу за что грызет голову, то выражают: она скребет морковь.

вался на народ да послал на них голод! А в каждой губернии есть народу тоже миллион, а где и два. Так какой надобно головы рассчитать, на сколько миллионов прислано денег? Это же только рассчитать никто не может, разве наш казначей, что в казну подушное принимает да на счетах, как возьмет, до зерна, как орехи, перекидывает, и ни в одной копейке не ошибется, так разом и высчитает; а дать же столько денег, кто может, как не царь наш премилосердый... и все то затем и трата такая, чтоб бедный народ не страдал без хлеба... Вот истинно отец к своим детям!.. И разве же только у него и есть, что мы? Эге! Слава тебе, Господи! Есть нашего народа немало, а тоже еще и российского, и немецкого, и татарского, и калмыцкого... и какого-то народа нет! И все же то идут под нашу державу, потому что очень хорошо всем жить! И все же то наш милосердый царь обо всех заботится и жалеет, как отец деток своих. Разве же кто у нас слышал такое, что рассказывал Демко Плескач, как возвратился из службы? Где-то он уже не ходил в походах! В каких землях не побывал! Так, говорит, был и у английских немцов, а город такой, как наш Петербург, и сам царь их там живет. Так, говорит, идешь по улице, валяется человек... Чего-то он? С голоду умирает... А все же-то ходят и смотрят, и всем нужды нет. Вот такое-то начальство! И смотрят, и видят, и своему царю не докладывают, и царь с них не взыскивает. Ну, ну! Как бы у нас так! Когда наш царь узнает, что одного нашего брата кто обидит и не защитят его, то уж даром не пройдет; а как бы одна душа от недосмотра умерла? Не знаю, что бы тут было! Подержи же его, Господи, и с царицею, и на наш век, и детей и внуков наших, чтобы и те хвалили Бога за такого царя! И вставая, и ложась молили за него Бога, как мы делаем!

Начальство, принявши казну, тотчас бросилось проведывать, где хоть немного дешевле хлеб, и разослало, чтобы, как можно, его закупить и скорее по селам поставить. Покуда же его понавезли и наддали, Тихон знай управляется с своим, все раздает... Как вот и пришел к нему человек с добрым словом:

– Что, дядюшка Степанович! Раздаешь ты хлеб, а чем его воротишь?

– Кто добрый будет, отдаст, как сможет; а нет, так нет. Что за нужда! Так говорил Тихон, насыпая вдове муки в узел.

– Так иной забудет, сколько возьмет. Когда бы ты записывал, сколько кому даешь?

– Я сам не грамотный, а нанять? На что оно? Не хочу.

– Да я тебе без найма буду писать; я немного цифры знаю. Хоть не затем, чтоб после с них собрать, а так, чтоб для себя знать, сколько разойдется хлеба. Дозволь-ка, дядюшка; я тотчас все спишу.

– Да и пиши, когда тебе некогда.

Вот тот человек и записывает мелом на стене в амбаре... Спросит Бруса:

– Федьку давал?

– Давал.

То он и пишет, сколько хочет, крестиков, это б то четвертей, до палочек вместо четвериков.

– Прудкогляду давал? – Нет, – а человек таки пишет...

Да так в день и в два списал у Тихоновых амбарах все стены, а потом и исчез и не идет писать; а Тихон еще рад, что он не идет и не мешает ему управляться.

Вот тут враги его и подбились к исправничему письмоводителю. Хитрые с беса! Знают, с какого конца дело начать. Тот выслушал их и слупил с них, что ему надобно было, да и стал исправнику внушать, что, говорит, в таком-то селе есть великий мошенник Тихон Брус, он перевел все имущество свое и женино на деньги да продает крепко непомерною ценою, а как люди в нужде, так все сбывают да хлеб покупают; а Тихон у них забрал и скотину, и возы, и с безделицею не расстался, оголил весь мир; как же нечего брать, так в долг раздает, да только кому даст четверть, а запишет три; кому четверик, а запишет четыре; и думает, что как вот это

пройдет беда, станут люди обживатьсья, то Тихон всех оберет, чтоб только самому разбогатеть, а всех в нищие пустить.

– Так, – говорил письмоводитель, – надобно не отменно следствие учинить; вот бы я, ваше благородие, поехал туда да все бы разыскал в один день, и тогда бы только, чтобы вы повелели с таким мошенником делать.

Эге! Да не на таковского ты, брат, наскочил! Как бы тот исправник, что прежде сменили, тот бы всему поверил, и бедного Тихона ободрали бы, как молоденькую липку, а что горше, не дали бы ему докончить своего дела; этот же исправник все выслушал да и говорит:

– Это такое дело, что надобно мне самому разбор сделать. И прибежал в село.

Не хитро же и исправник взялся! Прежде выспросил тех, кои злы были на Тихона, и того человека, что записывал Тихону забор хлеба, что притворился будто и добрый, а это он от них и научен был. Чего-то уже они на Бруса ни наговорили! Хоть голову ему тотчас снимай. После исправник бросился сюда-туда, расспрашивает, так все – и что то – и малые дети, и те про Тихона, как про родного говорят, как он всем хлеб и мукою, кому надо, а кому семенами на посев даст и все без денег, нужды нет, что у него покупной хлеб, а в отдачу, как бог родит новый; что он и не записывал никогда как давал, что и малым детям каждый день раздает печеный хлеб; да как теперь везде беда, так и чужие, а есть и из дальних мест, как плав плывут и все к нему, а он всем раздает и всех пропитывает.

Вот тогда уже исправник прямешенько пошел к Тихону. Вошедши в хату, помолился Богу и тотчас спросил хозяина. Тихон, не имевши за собою никакой вины, не боясь, вошел к нему, поклонился... как исправник к нему, взял его за голову, поцеловал и говорит:

– Почтенный старичок! чрез таких людей и нас Бог милует! – а потом – вот, ей-богу, что правда! – поклонился ему низко и говорит: – Благодарю тебя, старик, что ты в такую несчастную годину делаешь так, как Богу приятно и бедным людям в нужде помогаешь.

Потом сел и Бруса посадил подле себя и стал записывать: сколько у Тихона было своих денег, сколько занял и кому что заложил, сколько хлеба купил, сколько роздал и сколько его осталось (а уже самая малость оставалась), как еще думает стараться, чтоб пропитать какой будет неимущий, потому что уже всем казенный хлеб раздавали; как думает розданный на посев хлеб собрать... все-все списал; так на последнее Тихон говорит:

– А как собрать? когда отдадут, возьму; а нет, так нет; это такое.

– Как это можно? – говорит исправник, – ты все свои деньги на хлеб издержал и останешься в бедности?

– Один Бог богат, ваше благородие! Надобно тут зарабатывать, чтоб там от него милость получать. Делай добро, и тебе будет добро. (Добре робы, добре и буде.)

– А жена и дети твои? Ведь же ты их всего лишил!

– Не было у них прежде ничего, работали, трудились, и Бог нам дал. Опять надобно работать, трудиться, и нас Бог не оставит, когда и комарика и маленькую комашечку призриает...

Исправник писал что-то долго, потом говорит:

– Старик, Бог тебя не оставит и на этом свете: пошлет тебе милость свою чрез нашего государя. Делай, как делаешь, и не бойся ничего; и я тебе скажу: Делай добро, и тебе будет добро! Прощай.

Вот от Тихона исправник прямо к тем людям, что располагали утопить Бруса; расспросил их, где и почем хлеб покупали и зачем продают? Они так и рассказывали, что через сякоготакого Бруса не можно им было и зерна продать, а теперь ждут весны, как цена еще выше будет...

– А чтоб вы не дождали христианской крови пить! – сказал исправник, да к их амбарам – и запечатал, и приказал голове, чтоб караул был, чтоб никто не распечатал вперед до времени – и поехал далее.

Батюшка мой! Как восстали на Тихона эти его враги! Он, говорят, оболгал их исправнику, он ему что-нибудь поднес, чтоб нашим хлебом распорядиться... да там такого говорили на него, сохрани боже! Так что же сделали? Ничегошеньки. Как ветер в поле веял, так и их ложь!.. Никто им не верил и не слушал их.

Как вот опять скоро наехал в село исправник, да не к волости, а прямехонько к старому Тихону, а за ним в коляске генерал с золотыми кистями на плечах, на груди золотая звезда, а на шее все кресты: даже от него сияет. Старый Тихон как увидел таких гостей, так даже затрясся, не испугавшись, а удивляясь, что такой великий господин к нему приехал, и зачем бы то?

Вот, вошедши в хату, исправник тотчас и сказал, что это генерал приехал от самого царя, что царь, пославши-таки везде деньги на хлеб и повелевши раздавать всем с порядком, еще-таки послал и генералов и каждому дал по большой сумме, чтобы так, какого увидят бедного, старого, немощного, калеку, чтоб по рукам на их бедность раздавали, чтоб скорее, кому нужда, помощь подать. Так вот это генерал заехал в наш уезд и, прослышавши про Тихона, хочет ему сколько тысяч отдать, чтоб он, как начал бедных наделять, так чтоб тем же порядком и царские деньги на милостыню раздавал или, покупая хлеб, хлебом снабжал.

Тихон, как только услышал, что это генерал, присланный от самого царя, то так ему в ноги, а генерал так и крикнул на него да велел встать и слушать его. Вот Тихон все и стоял перед ним, наклонивши голову, как прилично перед великим господином. Потом, как рассказал все исправник, генерал еще снова говорил, чтоб Тихон от исправника принимал, сколько ему нужно будет денег, и чтобы делал, как лучше знает, лишь бы бедным помогать, и чтобы они знали, что это вспомоществование от царя и царицы идет, так чтоб они за них молились Богу.

Тихон и в другой раз упал было к его ногам, как выслушал все и говорит:

– Достоин ли я такой чести, чтоб царскую казну...

А генерал и перервал его и, ударив его рукою по плечу, начал говорить, что он слышал, что Тихон человек рассудительный и знает, кому как в нужде помогать. Приказывал, чтоб взял у исправника несколько денег, да и проискивал каких беднейших, да тотчас бы им и помочь подавал. Потом спрашивал у него, как он думает лучше: хлебом ли раздавать или деньгами по рукам и сколько ему надобно на первый случай суммы отсчитать?

Вот Тихон, не робея ничего, так прямо и стал говорить:

– Позвольте мне... ваше... благо... родие... сиятельство... – извините, мы мужики простые, не умеем как такого господина и величать, не только с ним говорить; так пускай будет по-нашему, не во гнев вам: добродеею¹⁸⁴, – да и поклонился перед ним.

Генерал, известно, не понял, что ему Тихон по-нашему говорил, да и спросил исправника. Как же тот ему растолковал, что «добродеею» значит, что добродееет, или делает добро, так генерал даже засмеялся да и говорит:

– Хорошо, хорошо, мужичок! Зови меня добродеею; это получше сиятельства¹⁸⁵...

Тихон опять поклонился и стал свое говорить: а моя мысль, добродеею, такая, что всякие просят помощи: иной от нужды, а иной, чтоб бездельничать. Когда же кто просит от нужды, тот больше рад будет хлебу святому, потому что с деньгами еще ему надобно будет идти, чтоб купить, а он, может, уже третий день как хлеб видел. Когда же кто мошенник, так тот хлебу и не рад будет; ему давай денег, чтобы пьянствовать или что другое такое дурное делать. Так лучше всего будем давать хлебом; а через то все, кто беду терпит, все к нам соберутся; а те, что плачут, услышавши, что у нас денег не раздают, удалятся от нас прочь.

– Правда, правда твоя, – сказал генерал, – делай, как сам знаешь. А сколько же тебе суммы отпустить? Я дал исправнику пять тысяч. Хочешь, все возьми, я тебе верю.

¹⁸⁴ *Добродей* – уважительное обращение: господин, милостивый государь. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁸⁵ К сожалению, выводится уж величание, добродеею; уже большею частью титулуют, по-московскому: ваше благородие и т. под. или иногда «батюшка».

– Покорно благодарим, добродее! – сказал Тихон, поклонившись, – как глаз, обязан беречь и копейку царскую, не то что; да только вот что: теперь, по царской милости, весь народ с магазейнов хлеб берет и голодного нет никого, а которые пошли на заработок по всем местам, и через такую великую малость царскую – поддержи его, Господь, на свете! – всяк через зиму пропитается; так через зиму довольно будет и одной тысячи; удовлетворен, когда кто явится голодной; а вот уже весною, да пока до нового хлеба, тут большая нужда постигнет; съедят все, продадут все, заработок уже не тот будет, станут возвращаться домой; по дороге не очень где выпросят; так вот тут-то беда такая придет, что и сохрани боже! Так вот тогда те четыре тысячи большую помощь сделают.

– Правда, правда твоя, старичок, правда. Так и делай, – сказал генерал да и приказывал исправнику, чтобы у тех людей, что накупил осенью хлеба да располагали дорогою ценою продавать, так весь тот хлеб взять и отдать Тихону на раздачу бедным за царское здоровье, а им уплатить из казны деньги, почем они его покупали, и процент еще положить за те месяцы, да им приказать, чтобы в другой раз не решались через людскую беду барыши брать, а с людей кожу драть. Потом генерал, уезжая, усмехнувшись, говорит Тихону:

– Прощай, добродее!

Тихон, оставшись, сам себе не знал, наяву ли это ему или так, во сне, что он такой чести дождался, что ему генерал, от самого царя, сумму поверил казенную и не малую таки и что с ним шутит и добродеем его в шутку называет. Вот как задумался об этом, а тут исправник и позвал его к делу. Пошли к тем людям, что враги Тихоновы; исправник рассчитал их и заплатил им все начисто; а как прибавил им и процент, за сколько месяцев причиталось, так они и обрадовались, потому что уже и сами спохватились, что не хорошо было – выдумали. Вот исправник их с Тихоном помирил, и стали приятели. А хлеб Тихон от них принял и стал по-своему распоряжаться.

Тоже-таки этот хлеб, да купленный за царские деньги; а то Тихон сбыл и волю, и везы, и все, как к осени пришло, что уже нечем было кормить; все сбыл, все решил, да на хлеб перевел, да пропитывал народ.

Как вот – благодарение милосердому Богу! – перебыли так-сяк голодную зиму, дождались весны... Зимой были великие снега и местами так его накидало, что аршина в три было; а везде, на ровном, и не было меньше аршина. Как укрыл снег землю, тогда ударили морозы – да и крепкие же были! Уж доставалось лысым, да плешивым! Не одну дюжину их насчитывали, чтоб мороз лопнул; так ничего и не легчал¹⁸⁶. Только лишь поворотило солнце к весне, как раз после сорока мучеников (9-го Марта), тотчас и стало растаивать. А люди свое зашумели: «вот величайшая половодь будет! Вот заметет всех! Пропали плотины, не выдержит ни одна, когда нагрянет вода». А Тихон покачает головою да и говорит:

– Увидите, что так ли оно будет!

Повеет теплый ветерок, прогреет солнышко: «вот-вот на ночь вода в пруде прибудет», говорят люди; ожидают – нет воды. Весь снег взялся водою, а вода нигде не бежит, и все, что день, воды меньше и снегу меньше. Через неделю и снегу нет, и воды нет, и в поле не грязно и сухошенько везде.

– Где это вода девалась? – удивляются люди, – видно, в землю вся вошла?

– Не что, – говорит Брус, – молитесь Богу, от него одного вся милость!

Как же прогреет солнышко, как и в прошлом лете! Какхватила суша! Люди в тугу.

– Не будет и сей год хлеба! – даже плачут некоторые. – Нечего больше делать: выкопаем ямы да и ляжем заблаговременно; нечего делать!

Дождя нет, солнышко припекает, по дороге даже пыль от засухи... а хлебец растет, знай растет, и трава в поле – как там говорят – даже шумит, лезет из земли... Люди удивляются и,

¹⁸⁶ При зимних морозах, чтоб они унялись, насчитывают двенадцать плешивых.

видя, что хлеб день ото дня все лучше, все лучше, уже не тужат да знай с яровым поспешают. Уже ее бог возрастил: как щетка!

Тихон и сам удивляется на такую весну, говорит людям:

– Никогда не должно гневить милосердного Господа пересудами: зачем вот это и зачем то не так, зачем это не сак? Можем ли мы знать, что и когда нужно? Можем ли мы понимать, что и для чего делается? Человека ли дело рассуждать про силы Божии? Он старый хозяин. Он один все знает, что, когда и сколько чего послать. Нам только должно молиться ему, чтоб посылал благодать свою не по грехам нашим, а по своему милосердию; да благодарить на всяк час и за то, что живем и что свет божий видим, что пропитываемся, что Бог дал кому жену, деточек, кому искренних приятелей...

Так всем твердил Тихон, а сам так делал свое.

Еще в конце зимы отдал ему исправник всю сумму царскую и написал по всем местам, где Бог благословил хлебом, чтобы Тихону всякую помощь давали и, чего ему нужно будет, чтоб доставляли как такому, что за нужнейшим казенным делом посланному, и те бумаги отдал Тихону и послал его.

Бросился наш Брус, так что ну! И молодой так не справится, а ему и старости нет, потому что Бог его подкреплял, что за доброе дело взялся. Где хлеба приторгует, где подводы наймет, да все недорого и все дешевле против всех, что тогда со всех голодных мест бросались закупать; да хоть они были дворяне и офицеры, да все не удалось им так справиться, как простому мужику, Тихону Брусу, с седой бородой да с превеличайшею лысиной.

Сбежались раз на мосту и такие господа, как их тогда звали, комиссары, и Тихон, и остановились, потому что через мост фура шла, так что возов двадцать с одной стороны да с другой навстречу, может быть, было с двенадцать. Это же известно, что наши, хоть сколько дорогою будет идти (ехать), то и ничего; только же войдут в такое место, на плотине ли где, на мосту ли или в переулке, то тотчас передний и отзовется:

– А постойте, хлопцы! А дай, Харько, табаку; твой крепче.

Или надо огня высечь на трубку, или онучи подвязать, или что-нибудь; и уже неотменно тут станут да и балагурят; а там, что проезжие стоят да ожидают, пока они с тесного места выедут, так то им и нужды нет – разве какой догадливый вскочит с лошадей, да начнет им по спине, да через спину рушники плетью давать, так тогда опомнятся, да замашут кнутиками и выедут на простор, да тут уже начнут ругать и отца, и мать, и весь род того, кто их бил; а себя бы больше должны бранить, что не раздумавши остановились и заставляли людям дорогу.

Так вот так-то и тут было. Едет фура, навстречу другая. Цобе да цобе, а сам знай машет кнутиком и не смотрит, что есть впереди, да и доцобкались до моста. Один говорит:

– Верни цобе (направо) и я возьму цобе, то и разъедемся. А встречный говорит:

– Как же мы разъедемся, когда мостик узок? верни ты назад.

– Але! – первый говорит, – как я поверну, когда, видишь, крутобережно; разве на печь подерусь?

Так и есть! что же тут на свете делать? фить-фить! – а тот себе: фить-фить! – да так себе и фитьфитькают... а там за рожки, да похваляют один у другого табак, а потом спрашивают, кто с чем, и откуда и куда идет, и где кормили на заре, и где вода лучшая... патя да патя, да и распатякались, как будто целый век им вместе на этом месте жить; а что колокольчик гремит, и уже и недалеко, и что Тихонов погонщик кричал на них, кричал, а то уже стал и ругать, так они того и не слышат; да уже подбежал комиссар да с своим казаком; прежде перекрестили сего и того нагайками, а после призвал всех фурщиков, откинули возы да и попереезжали; а фуры и бросили, пускай себе, как знают, так и справляются.

Вот при этом-то перевозе комиссар и спрашивал Тихона, что он за человек и куда едет. Как же ему Тихон рассказал все, и где, и у кого, и почем хлеб купил, так комиссар даже

удивился, что и он у того же у самого купца хлеб купил, что и Тихон, так двумя рублями дороже.

– Отчего это оно так есть? – спросил комиссар.

– А оттого, пане! – говорил Тихон, – вы паны и все хотите по-пански делать. Не прогневайтесь за это слово. Вы, как торгуетесь, то будто приказываете, чтоб все знали, что вы есть паны, а мы просим, да просим, да молим; и за тем рублем, или и за полтиною, так мы и день лишний живем и лишнюю чарку пьем, и все делаем, как бы подольститься, да что-нибудь выторговать, потому что нам царской суммы жаль. Хоть и мы знаем, что у царя денег много, да так себе с простоты рассуждаем, что и много есть куда ему их и тратить; так я тут выторгую какой рубль, а он в другом месте пойдет к делу, вот я и услужил, и царской казне все-таки легче. Я же почем купил, так и счет веду, и в книгу так приказываю записать, а не присчитываю ни одной копейки; потому что грех смертельный казну красть и по книгам с ложью записывать... Прощайте, пан комиссар! может, вам некогда?... погоняй, хлопче!.. – кашлянул себе Тихон и поехал, да все что-то ворчал, да сплевывал, даже пока далеко заехал.

Дома же не надает Тихон никак хлеба народу, народу! один за одним как плав плывут. Все бросились из заработков к домам; пропитываясь же, так истощились, что уже, не только что в доме осталось, да и на плечах одежда чуть-чуть держится; продать и заложить вовсе нечего; так все к Тихону... у него своей рукой берут и мукою и печеным. А как прошла молва везде, что в таком-то селе есть царская сумма и что на нее раздают всем хлеб, так со всех мест народ так и нахлынул.

Уже чуть-чуть хлеба стает, уже так что в закромах меркою и дно черкается; да уже Тихон и не тужит, хоть и царскую сумму всю кончил и у самого не только чтобы какая копеечка, да и одежда старенькая, только та, что на нем, да на жене и на детях. И нигде ничего уже и взять; такая бедность, такая бедность, что сохрани Матерь Божия!.. А Тихон ничем и не уважает, и не слушает, как его Стеха и бранит и ругает; ему все нужды нет, потому что видит, как Господь милосердый, Отец наш Небесный, послал благодать в новом хлебе. Да и хлеб же Бог уродил! старые люди, что лет по семьдесят живут на свете, не запомнят такого! Как же приспел, как бросались все, кто только смог, и мужчины, и женщины, и мальчики, да и дети туда же: кто жнет, кто перевязь вертит, кто связывает, а кто носит снопы, да такие, что сильному человеку больше двух не можно и поднять; а одного и погонец (мальчик лет 14-ти, при паханье погоняющий волов в плуге) не донесет. Как же по гумнам ударила в цепи... так что копна (60 снопов), то и четверть!.. Вот уже хвалили Господа милосердного!

А как привел милосердый создатель наш разговеться новым хлебом!.. Вот уже радость была! Таки именно, как на Великдень (Светлое Воскресение), кто живой дождет! разгавливались паскою освященною, так всяк принимал новый хлеб в первый раз – и уже первого куска не съел его сухого... обольет его слезами, благодарит от чистого сердца Господа милосердного, да тогда и съест...

Что же сами поели, а что стали неимущих да проходящих обделять. У иного уже полная торба, а тут еще ему тычут хлеб:

– Возьми, – говорят, – пожалуйста, возьми, сделай милость, будь ласков, возьми.

Так-то всяк, как узнает нужду, так поневоле добрым станет...

Что же с нашим Тихоном? Может, люди в счастье его совсем забыли? Ну, ну; не знаю, чтоб такого старателя забыли. Была ли в селе такая душа, хоть старое, хоть малое, чтоб ему не благодарили! И как же можно? Всяк видел, что он лишился и денег, и скотины, и всего имущества, обобрал и жену, и детей, сам свелся ни на что, и все затем, чтоб пропитать людей, не то чтобы бедных, неимущих, да-таки и всех, потому что голод всем равен был. А что наиболее он мудро сделал, что раздал людям семена на посев. Что бы теперь делали? И как бы вышли опять из беды? Через него же и царский генерал оставил здесь царскую казну, и ею пропитались в самое злое время! Так как бы то уже его забыть? Вот же то, как только хлеб поспел, так

тотчас от всякого двора вышло по жнецу, и в один день всю ниву Тихонову сжали, и повязали, и в копны склали. А как пекли новый хлеб, так каждый хозяин принес или прислал ему по новому хлебу.

Это было на самого Прокопия (8-го июля); как только настал день божий, так и повалил народ к Тихону... Человек войдет, помолится, хлеб святой положит да Тихону припадет к ногам и сквозь слезы говорит:

– Прими, дядюшка, хлеб святой, что через тебя Бог послал мне с семьей моей, что ты их пропитал в такую несчастную годину.

Там дитя вбежит, да тоже хлебец несет, да лепечет:

– Вот это, дедушка, мама тебе прислала уже нашего, за то, что ты, спасибо тебе, нас через зиму прокормил. Я как велик буду, то все тебе буду благодарить и тебе хлебец носить, что через тебя моя бабушка не умерла и я с голоду не пропал.

Там войдет девчонка, да все с хлебом, да с благодарностью, что их, сирот, без отца и без матери, он прокармливал и не дал им в нужде погибнуть. Там сей, там тот, и все благодарят, все хлеб несут ему, как прежде сего от него хлеб брали. Принимал он, принимал те хлебы, складывал их все на стол, а сам знай только слезы отирает, пока наклал их полон стол; над тем хлебом сложил накрест руки, поднял глаза к Богу да как заплачет, как бросится на колена и стал тихонько молиться... а потом встал, стал благодарить людям, что принесли каждый ему уже своего нового хлеба, а потом и говорит:

– Не за что меня благодарить за пропитание ваше: Господь нас всех, по милосердию своему, не оставил и послал нам такого милосердного царя, что меры нет. Без его любви, хлопот и старания об нас чтобы мы все! Магазины те, что по его повелению нам давно должно было наполнить, а мы об них и не думали да весь хлеб поедали – могли бы нас удовлетворить, хоть бы и совсем полны были? Нет, ненадолго стало бы и того хлеба. Так он нам прислал свою казну, повелел по всем местам покупать хлеба и нас пропитать; повелел, чтобы, кто хочет, расходились в лучшие места для заработков, и за билеты не повелел с вас денег брать, и про подушное не велел беспокоить; так вот кто нас от беды избавил! А я что? Что я мог сам сделать? Ничегошенько. Да и после я исполнял только волю царскую и начальников; кого бы из вас ни приставили, всяк бы тоже сделал. Так не мне должно благодарить; уже вы мне и так много помочи дали, убрав хлеб. Теперь благодарите прежде всего Богу милосердому, отцу на небеси, а после царю нашему, щедрому отцу на земли, да и станем делать, что нам пове левают: Господь велит любить и помогать один другому, и царь тоже повелевает. А нам еще должно знать, что без денег не можно ничего сделать, как и сами при этой лихой године видели, так и царю нашему не можно ни войска содержать, и никакого порядка дать; а казны много истрачено в этот год, ни на кого же больше, как на вас, по всем губерниям, где голод был; так и нам теперь должно, как можно, броситься и зарабатывать, да подушное вносить, да недоимку, на ком есть, уплачивать: тогда и царь нас пожалует, и Господь помилует, и, видя, что мы добрые и покорные дети, не пошлет нам больше никакой беды, и царя нашего сохранит на сем свете для нашего же счастья на многие лета.

Тут весь народ – а их было-таки немало одних стариков – так и закричали: сохрани его, Господи, для нашего и детского счастья на многие лета!

Как тут – откуда услышался колокольчик... и прискакал исправник, да прямо к Тихону в хату, да и крикнул тотчас:

– Ступайте весь народ к волости; губернатор приехал; собирайтесь все; есть дело. Тихон, пойдем со мной, и с женою, и с детьми.

Вот народ и бросился весь к волости, а по дворам десятские бегают да собирают, чтобы и старое, и малое, все чтобы шли туда, потому что дело есть. Собралась громада, а тут и исправник, пришел и за ним Тихон, и Стеха, и дети их. Стеха бы то шла да надвое думала: зачем ее с детьми ведут к губернатору? Или меня накажут, зачем я все бранилась с Тихоном; или,

больше того, что его накажут, зачем обобрал у меня всю одежду; и когда б таки хорошенько, да хорошенько...

Только что стали к волости доходить, тут вышел к громаде сам губернатор и спрашивает: где Тихон Брус? Вот исправник и подвел его. Губернатор взял его за руку и, поставивши подле себя, да и говорит:

– Стань здесь, почтенный старичок! – да и дал исправнику бумагу и велел вслух читать... Господи милостивый! Что же то там написано было!

К самому царю дошло до сведения, что в этот голодный год Тихон делал, как старался, как людей пропитывал и как за царскую казну исправно покупал и порядком его всем раздавал; а что наиболее, что сам всего своего имения лишился и все употребил на пропитание людей в своем селе. Так за это все царь прислал ему медаль серебряную, великую, а на ней самое таки настоящее царское лице, и повелевал ту медаль надеть на Тихона на ленте, да широкой, да красной, как обыкновенно бывает кавалерия. Да еще сверх того повелевал из своей царской казны выкупить все имущество, что заложил Тихон, и его, и женино, и детское, и пополнить ему все деньги, сколько он издержал на пропитание людское.

Как это прочитали, так народ удивился от радости, а Тихон стоит, наклонивши голову, и не помнит себя, в раю ли он или где? Малой ли чести он дожил?

Потом губернатор вынул из ящика ту царскую медаль и повесил на ленте на шею Тихону, а тот так и упал на колена да плачет же то от радости, как малое дитя. А тут и Стеха с дочками тоже припала к ногам губернатора да целует их; только уже неизвестно, рада ли она была медали, что мужу ее надели, или тому, что воротились ее очипки, и плахты, и намысты, и все...

Вот губернатор, надевши медаль, поднял Тихона, и поцеловал его в голову, и сказал:

– Поздравляю тебя, почтенный старичок, с царскою милостью! Потом велел исправнику все имущество Тихоново, что тут было уже привезено и из-под залога выкуплено, и деньги, сколько повелено было, отдать все Тихону, а обществу приказать, чтобы все Тихона и уважали, и почитали. А жене приказывал, чтоб не спорила, и не бранилась с мужем, и слушала бы его во всем, и детей учила слушать отца потому, что он ни вздумает, то все на пользу. Потом опять к Тихону и говорит:

– Видишь, старик! Ты не ошибся: делай добро, вот и тебе будет добро! – Потом поклонился народу, садясь в свою коляску, да и сказал: – Прощайте, люди добрые! Молитесь за царя!.. – да и поехал скоро себе.

А народ же то весь, снявши шапки и поднявши руки к Богу, так в один голос и зашумели:

– Подержи его, Господи, в счастье и здоровье на этом свете и при нас, и при наших детях и внуках, что он нас в самую злую годину не оставил и пропитал нас, как отец детей, и того наградил, кто пекся об нас. Пошли, Господь милостивый, царю нашему и царице всего, чего они от тебя желают и что ты знаешь, за их добродетель, им послать.

Вот так-то мы молимся каждый день, и детей учим, за то добро, что он нам посылает каждый день.

С Малорос. В. Н. С.

Конотопская ведьма

Посвящается Михаилу Ефимовичу Бедряге

I

Смутен и невесел сидел себе на лавке, в новой светелке, что отгородил от противной хаты¹⁸⁷, конотопский пан сотник Никита Власович Забрёха. Хоть парень себе и опрятный был, а тут и в воскресенье не переменил сорочки и, не раздеваясь, сердечный, так и ночевал; рад-рад, что хоть за полночь, а дотащился до дому; а тут заснул ли нет ли, а уже его, еще и солнце не всходило, разбудили. Тотчас вскочивши, вызевался, вычесался, помолился Богу, раза три нюхнул крепкого роменского табаку, прослушал, что ему читали, дал порядок и, оставшись один в светелке, сел на лавке. Голова у него нечесана, чуб не подбритый, лицо не умыто, глаза заспаны, усы растрепаны, сорочка разорвана; подле него трубка и табак, чернильница, гребешок и полная фляжка еще прошлогодней грушовки, с вечера поставленной ему, чтобы, знаете, с печали ему выпить. Но как он затужил снова, то и забыл выпить, да так и лег, да и теперь, вставши, не очень бросался на ту грушовку, потому что новая беда совсем его смутила и он с печали сам себя не помнит.

Какая же там ему беда сложилась, и отчего так одолела его печаль? Але! Подождите-ка; я вам все расскажу – и откуда он так поздно приехал, и зачем не дали ему хорошенько и выспаться. Дайте-ка, у кого крепче табак, понюхать да тогда и слушайте.

Пан сотник Власович был роду честного и важного. Кто только ни помнил, сотенною старшиною всегда были Забрёхи; а деды и прадеды – Никитовы – в славном сотенном местечке Конотопе все были сотниками; так, от отца к сыну, сотничество и переходило. Вот, как и старый Влас Забрёха, сотник конотопский, умер... И как-то жалело за ним все казачество! Да-таки и все люди, и стар и мал, все плакали. А когда хоронили, так гроб его несли через все село на руках, как обыкновенно дети отца; и похоронили подле церкви, и славно во все срочные дни помянули. Как же отпили последний сороковый день, то громада и собралась на совет, кого поставить сотником? Тут все в один голос закричали:

– А кому же быть? Власовичу, Забрёшченку, какого нам лучшего и скать?

Вот так-то и поставили его сотником, и стал он из Забрёшченка сам целым Забрёхою.

Вот он, похоронивши отца, сюда-туда осмотревшись, видит, что ему есть уже лет двадцать пять; негде деться, надо жениться, надо невесту искать... Отец же его, старый Влас, был себе скупенек, и когда было Никита, как возьмет его за сердце, станет отца просить, чтоб его женили, то старик наморщит брови, глянет на него сурово да и скажет:

– Пускай-ка прояснится, видишь, как пасмурно. Какой теперь сын женится? Видишь, хлеб дорог: по пятнадцати копеек мешок муки; да и тесно нам будет, как тебе жену возьмем, только и есть, что хата с комнатою, да через сени противная хата, да и полно; где мне вас мстить с детворою, что уже знаю, что так и осыпят. Пускай-ка, после подумаем.

То было Никита почешется да с таким отказом и пойдет. Теперь же, как старик умер, ему своя воля. Тотчас, взявши, противную хату перегородил – вот ему и светелка, есть и простор. После стал невесту приискивать и сел думать. Уже на какую-то он ни думал? Прежде всего задумал так, что и где! Тотчас на черниговскую протопоповну закинул да и сам испугался от неровни; у нее одного платья на два воза не уложишь, а наместа, говорят, мерками отец отсыпет; да-таки и нечего: там и семинаристы, кончившие курс, ели печеные тыквы, так нашему брату нечего туда и соваться. Вот он и спустился пониже: перебирал-перебирал, думал-думал... Далее, как заплескал в ладони, как заговорит сам себе в хате:

– Вот это так! Вот это моя!.. Хлопче! Седлай скорее коня! Собрался ли, нет ли, наш Власович сел скорее на коня... и как полетел, так только что глазом его завидишь.

¹⁸⁷ Противная хата, через сени расположенная, напротив обыкновенной, великой хаты. Это означает достаточного хозяина. (Прим. автора.)

Куда же то он так помчался быстро? Эге! Когда-то, где-то на ярмарке, видел он хорунженку¹⁸⁸, Олену, вот что на сухой балке хутор, называется Безверхий. Он тогда, смотревши, очень удивлялся, что девочка и молоденькая, а закупает много муки ржаной; а как стал спрашивать людей, так ему и рассказали, что у нее нет ни отца, ни матери, только один брат; что она презаботливая хозяйка: сама и около коров, сама и в поле при косцах и при жнецах, а зимою в винокурне сама досматривает и эту муку покупает для винокурни. Брат ее, хорунженко, хоть парень и молодой, но не хочет жениться, а думает идти в монахи, потому что как был болен, так обещался: «Когда, говорит, выздоровею, то пойду в монахи, отдавши сестру замуж». Вот и выздоровел, и ожидает доброго человека, чтоб ему и имение, и сестру отдать. И уже ему ни до чего дела нет, все только книги читает, а Олена за него везде по хозяйству поворачивается.

Вот туда-то потянул наш пан сотник Забрёха. Не взял же его черт на выдумки! Чует кошка, где сало лежит. Одно то, что девка здоровая, молодая, видная, чернобровая, полнолицая, а имения – имения, так батюшки! Свой хутор, лесок, винокуренка, мельничка, ветряная мельница, а скотины да овечек, так нечего и говорить!.. И все то ей достается. Затем-то так наш Власович и поспешает; даже коню не даст вздохнуть, и сам, не пообедавши, тридцать семисотных верст и еще с гоном¹⁸⁹ не отдыхая переехал; и как добежал до того безверного хутора и встал с лошади подле хорунженковой хаты, так он так и шатается, будто пьяный, – а я же говорю, что он и не обедал нигде.

Поздоровавшись с паном хорунженком и севши в хате, вот наши и разговорились между собою и узнали, что еще и отцы их между собою дружили, а потому и им надо не отставать один от другого. Далее хорунженко спрашивал пана сотника, что куда его бог несет и зачем? Тотчас наш Власович и стал лгать. Старые люди говорят, только что еще задумаешь свататься, то и станешь лгать; и что безо лжи ни один человек не сватался. Вот же то и сотник говорит, что будто бы ему нужно нанять в винокурне барду¹⁹⁰ для волов в зиму (а где еще-то та и зима? Еще только Петровки идут). Так он услышал, что у пана хорунженка в винокурне барда добрая, и хорошо скотину присматривают, так он приехал нанять и сторговаться.

– Не знаю я этого дела и ни во что не мешаюсь. Про то сестра знает, – сказал ему в ответ пан хорунженко.

– А где же Осиповна Олена? Может быть, ее позвали бы, то мы с нею и кончим дело, – сказал Забрёха.

– Але! Сестра в поле. Поехали там немного проса посеять, так она присматривает, потому что без нее никто ничего не сумеет и сделать. А вы, Власович, не скучайте; она к вечеру и будет. Пока она возвратится, девка, а принеси-ка нам сливянки, то мы по горшочку, по другому выпьем. Да уже вы, пан сотник, у нас и заночуйте, потому что уже не рано, – сказал хорунженко.

– Панская воля! – ответ дал Никита и радехонек себе.

Вот, как выцедили они по кувшину на брата сливянки, а после и терновки выпили немало, приехала с поля и наша Олена. Видит, что чужой человек, тотчас бросилась, велела поймать в пруде карасей и заказала ужин готовить; сюда-туда бросилась и дала всему порядок: что и завтра работать и кому, куда и зачем ехать; а после принарядилась-таки мило, как пристойно панночке, да еще и хорунжевой дочери: к старенькой плахте да привесила люстриновую¹⁹¹ запаску, надела также шелковую юбку (корсет), да на шею на черной бархатке дукат да красные баш-

¹⁸⁸ Хорунженка – дочь хорунжего, прапорщика в казацких войсках. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁸⁹ Прежде версты считались по семя сот саженой. А «гон» излишек, сколько можно коню перебежать без отдыха. (Прим. автора.)

¹⁹⁰ Барда – гуща, остающаяся после перегонки спиртных напитков, отбросы винокурения, идущие на корм скоту. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹¹ Люстриновая – сделанная из люстрина – шерстяной материи с глянцем. (Прим. Л. Г. Фризмана)

мачки обула, а на голову хорошую ленту повязала да и вошла и поклонилась пану Власовичу низешенько.

Наш Забрёха как повидел такую панночку, что не только еще отроду не видал такой, да она ему и не снилася такая, так даже задрожал и не помнит, что ему и говорить, да уже хорунженко напомнил и говорит: «Вот же, пан сотник, вам и хозяйка; договаривайтесь с нею, она всему голова».

Так что ж то наш Власович? Ни пары из уст. По сле принялся, мямлил-мямлил... да и начнет про волю, а оканчивает голубяями; думает о барде, а говорит о терновке; да как сбился с толку и замолчал-замолчал; только и знает, слюнки глотает, глядя на такую кралю¹⁹².

Олена себе девка бойкая была. Хоть пан сотник и сюда и туда загинал, а она его тотчас поняла, каков он есть и зачем приехал, да и говорит ему:

– Хорошо, паныченько! Докушивайте же на здоровье терновочку, да поужинаете, да ляжете спать, а завтра – даст бог свет, даст и совет – то и посоветуемся, что делать надо.

Забрёха, это услышавши, сам себя не вспомнил от радости! Думает: вот дело и совсем, завтра только рушники брать. Да с этою мыслию за кувшин да давай снова попивать наливку с паном хорунженком, который этого дела не оставляет да еще и любит.

Олена таки частенько к панычам входила, так, будто за каким делом, а только, чтоб больше рассмотреть Никиту Власовича – что оно такое есть? Да как войдет, как поведет глазками, что, как терн-ягодки, на пана сотника – то у него язык станет словно шерстяной и не поворотит его; а сам весь как в огне горит. Приготовивши ужин, она уже больше и не входила. Одни панычи поужинали, и, окончивши кувшин с терновкою, пан хорунженко хотел идти спать, как вот наш Забрёха выкашлялся, потер усы, да и стал говорить ту рацею¹⁹³, что ему дьячок сочинил давно уже для такого случая. Вот и говорит:

– Вот послушайте, паныч Осипович, что я вам скажу. Несоразмерно суть человечеству единопробывание и в дому, и в господарстве. Всякое дыхание тут тщится быть в двойстве. Едино человеку на потребу – имети жену и чада. И аз нижайший возымех сию мысль и неукротимое желание... – Да и замолчал. Ни сюда ни туда.

Хорунженко совсем было дремал, но, прислушавшись к этой речи, наконец сказал:

– Что это такое, пан сотник, вы говорите? Что-то я ничего не понимаю! Не после терновки ли вы такие стали?

Вздыхнул Власович, да и говорит:

– А, чтоб его писала лихая година! Ведь же говорил ему, что долгая, не выучу; так не укоротил же! Это мне такое написал наш воскресенский дьячок...

– Да что оно такое есть? – спросил Осипович. – Это вирша¹⁹⁴, что ли? Или заговор от змеи?

– Але! Я и сам не знаю, что оно и для чего?

– Так на что ж мне такое к ночи говорите? Меня уже из-за плеч берет!!!

– Да я бы и не говорил, так беда пришла!

– Да какая там беда? Говорите скорее: спать хочу.

– Але! Кому спать, а кому и нет... – сказал Власович, да, вздохнувши тяжело, поклонился хорунженку низехонько, да и говорит: – Отдайте за меня Олену, вашу сестрицу!

– Йо!¹⁹⁵ – сказал хорунженко, задумался, стал почесывать затылок, и плечи, и спину, а потом и говорит: – Повижу, что сестра скажет; пускай до завтра. Ложитесь-ка спать. – Да и пошел от него.

¹⁹² Краля – красавица. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹³ Рацея – назидательная речь. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹⁴ Вирша – искаж. укр. слово «вірш». (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹⁵ Это слово имеет значение по тому, с каким произнесется. Означает: как бы не так? и – неужели? и – вот возьмешь? – и мн. др. (Прим. автора.)

Лег наш Забрёха спать, так ему и не спится; ждет, не дождется света, чтоб скорее ему услышать, что скажет Олена... Ну, сяк-так дождалися света, встали панычи и сошлись. Пан Власович тотчас и спрашивает:

– А что же вы мне скажете? Если наша речь к делу, так я побежал бы скорее да со старостами и явился бы сюда закон исполнить. Говорите же!..

Сопит наш хорунженко и ничего ему не сказал, только крикнул в комнату:

– А ну, сестрица! Дай нам позавтракать, что ты там приготовила? Вошла из комнаты служанка, поклонилась да и пос тавила на стол перед паном Власовичем на сковороде... запеченную тыкву!.. Как рассмотрел наш Забрёха такой гостинец, как выскочит из-за стола, как выбежит из хаты... Как вот тут батрак уже и держит его коня и уже оседланного... Он скорее на коня да уходит помимо изб... только и слышит, что люди с него хохочут!.. Ему еще больше стыдно... Еще больше коня погоняет... Да как выскакал из хутора, рассмотрел:

– Что тут болтается на шее у коня?

Когда же смотрит, веревка... Потянул ту веревку... ан и тут тыква сырая прицеплена!.. Бросил он ее далеко, а сам за нагайку – знай погоняет, знай погоняет своего коня.

Одно то, что стыд, а тут и такой девки жаль!.. Да еще и не евши, и не пивши!.. Вот уже наш Власович и домой с тыквой (с отказом) так скачет, как бежал к невесте, думая рушники брать. И самому беда, и конь выморен – так что насилу, насилу дотащился до дому уже в полночь и – как я говорил прежде, – не раздеваясь, лег скорее спать.

II

Смутен и невесел сидел в светелке на лавке конотопский пан сотник Никита Власович Забрёха. А о чем он тосковал, мы уже знаем... эге! Да не совсем. Не даст ли нам толку разве вот этот, что лезет в светелку к пану сотнику? А кто же то лезет? Что же он так хлопочет? То сунется в дверь, то и назад. Вот та хворостина, что несет в руках, та его удерживает: когда держит ее впереди себя, то только что нос в дверь покажет, а хворостина уже и уперлась в угол; когда же ее тащит за собою, то войдет совсем в светелку, а она за ним тащится и удерживает его, как та сварливая жена пьяницу-мужа; поперек же и не говори ее всунуть в светелку, потому что крепко длинна была. Лезет то не кто, как Прокоп Григорыч Пистряк, конотопский сотенный писарь и искренний приятель конотопского пана сотника, Никиты Власовича Забрёхи, потому что он без него ни чарки горелки, ни ложки борщу ко рту не поднесет. А уже на совете, как Прокоп Григорыч сказал, так оно так и есть, так и будет – и уже до ста баб не ходи, никто не переуверит в противном. Что же то он за хворостину тащит в светелку к пану сотнику? Але! Лучше всего послушаем их, и о чем они себе будут разговаривать, вот тогда все будем знать. Да еще же и то знайте, что пан Пистряк есть писарь: двенадцать лет учился в школе у дьяка; два года учил часослов¹⁹⁶; три года с половиною сидел над псалтырью¹⁹⁷ и с молитвами совсем ее выучил; четыре года с половиною учился писать; а целый год учился на счетах выкидать; а между этим временем, ходя на клирос, понял гласы, и ирмолонные¹⁹⁸ догматики, и Сковородины херувимские; туда же за дьячком и подьячим окселентовал; а уже на речах так уже боек, и когда уже разговорится-разговорится, да все неспроста, все из писания, – так тогда и наш Константин, хоть и до синтаксису¹⁹⁹ ходил, слушает его, слушает, вздвигнет плечами да и отойдет от него, сказавши: «Кто тебя, человеце, знает, что ты говоришь?» Вот такой-то был у нас в Конотопе писарь, вот этот Прокоп Григорыч Пистряк. Так, когда начнет он с паном

¹⁹⁶ Часослов – книга, содержащая тексты некоторых церковных служб – часов. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹⁷ Псалтырь – собрание псалмов. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹⁸ Ирмолонные – восходящие к ирмолу – роду богослужения в песнопении. (Прим. Л. Г. Фризмана)

¹⁹⁹ Синтаксис – третий (из семи) класс духовного училища, семинарии. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Забрѣхою разговаривать, вы только слушайте, а поймете ли что, не знаю, потому что он у нас человек с ученою головою: говорит так, что и с десятью простыми головами не поймешь.

Вот же то, как пан сотник видит, что пан писарь не влезет к нему в светелку за этою длинною хворостиною, то и спрашивает:

– Да что это вы, пан писарь! Какого черта ко мне в светелку тащите?

– Это, добродее, рапорт о сотенном народосчислении, в наличности предстоящих, по мановению вашему; да пусть бы он сокрушился в прах и пепел! Невместим есть в чертог ваш! Подобаает или стену прорубить, или потолок поднять, потому что не влезу к вашей вельможности! – сказал Пистряк, да и начал снова хлопотать с тою хворостиною.

– Что же это за рапорт такой длинный? Хворостина же ему, видно, вместо хвоста, что ли?

– Хворостина сия хотя и есть хворостина, но она не суть уже хворостина; понеже убо на ней суть вместилище душ казацких прехраброй сотни конотопской за ненахождением писательного существа и трепетанием моего десницы, а с нею купно и шуйцы.

Вот так отсыпал наш Пистряк.

– Да говорите мне попросту, пан писарь! О, уже мне это письмо надоело и опротивело, что ничего и не пойму, что вы говорите. Тут и без вас тоска одолела, и печенки, так и слышу, как к сердцу подступают... – сказал пан сотник да и склонился на руку... Да чуть ли таки что и не пустил слезок пары-другой.

– Горе мне, пан сотник! Мимошедшую седмицу²⁰⁰ глумлялся с молодичами по шиночкам здешней палестины, и вечеру сущу минувшаго дне бых неподвижен, аки клада, и нем, аки рыба морская. И се внезапная весть потрясе мою внутреннюю утробу! А пане и паче, егда прочтох и уразумех повеление милостиваго начальства собиратися в поход даже до Чернигова. Сие, пан сотник, пишут, щадя души наши, да некогда страх и трепет обуяет нами, и мы, скорбные, падем на ложи наши и уснем в смерть; и того ради скрытность умыслиша, аки бы в Чернигов; а кто ведает? О горе, горе! И паки реку: горе!

– О горе, горе, Григорьич!

– О горе, горе, Власович!

Вот так-то горевали пан сотник с паном писарем оттого, что прислано им предписание идти в Чернигов со всею сотнею, и собраться со всем прибором, и взять провианту для себя и коней на две недели. Вот – как горюют пан сотник в светелке, а пан писарь за порогом – как этот и выдумал: а уже на выдумки лихой был! Вот и говорит:

– Соблаговолите, пан сотник, дать мне повеление о сокрушительном преломлении сея троекратно противной мне хворостины, яже суть ныне в ранг рапорта; потому что сами созерцаете ясными, хотя и неумытыми вашими очесами, что аз неместим есть с нею в чертог ваш.

²⁰⁰ Седмица – неделя. (Прим. Л. Г. Фризмана)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.